

РАСКАЗАЧИВАНИЮ НЕ БЫВАТЬ!

СПЕЦНАЗ НА ДОНУ, 1919



КОНСТАНТИН ГРАДОВ

Константин Градов

Расказачиванию не бывать!

«Автор»

2026

Градов К.

Расказачиванию не бывать! / К. Градов — «Автор», 2026

Его убили в наше время. Он очнулся в 1919-м — в теле донского казака, в ночь, когда красные расстреляли половину его хутора по спискам. У него память офицера спецназа и знание, чем всё кончится: Дон залыют кровью, Белое дело падёт, а казачество вырубят под корень. Один в чужом теле он эту лавину не остановит. Но лечь под нож по разрядке — не из таких. Шашка деда на стене. Земляки, готовые подняться. И один человек, который твёрдо решил: по спискам — не будет. Попаданческий боевик на Тихом Дону, где за каждый просчёт платят жизнью.

© Градов К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	16
Глава 4	25
Глава 5	30
Глава 6	35
Глава 7	40
Г	45
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Константин Градов

Расказачиванию не бывать!

Глава 1

Холод поднимался снизу, из самой мёрзлой земли, и был он первым, что вернулось ко мне из небытия, — холод, темнота да чьё-то тяжёлое, рваное дыхание у самого уха, в котором я не сразу признал своё собственное. Каждый вдох доставался с боем, словно на грудь навалили плужный лемех и забыли снять, и оттого грудь поднималась медленно, через силу, будто не хотела больше этой работы.

Я лежал лицом вниз, и снег, набившийся в рот и в ноздри, понемногу таял на щеке, а земля всё тянула из меня остатки тепла — неспешно, по-хозяйски, так, как тянет она его из всякого, кто залежался на ней дольше положенного и кто уже, по правде говоря, не встанет.

Встать. Эта мысль пришла раньше всех прочих, голая и рабочая, без лишних вопросов: сперва подняться, а после уже разбираться, кто ты таков и где тебя угораздило оказаться. Я упёрся ладонью в снег, приподнялся на локте — и замер, потому что ладонь, на которую я оперся, была чужая.

Широкая, с вьёвшейся в трещины землёй, с жёлтой костяной мозолью у большого пальца, это была рука человека, который сызмальства работал ею и держал в ней то вожжи, то черенок, то холодное железо. Моя рука была иной, и я ещё помнил её — суше, длиннее в пальцах, с белой ниточкой давнего шрама на третьей фаланге; но той руки больше не существовало нигде на свете, а была вот эта, и слушалась она меня так же покорно, как слушалась бы родная.

Память возвращалась не сразу и не вся, а проступала медленными ключьями, как изба проступает из утреннего тумана — сначала один угол, потом плетень, потом мало-помалу весь двор. Меня звали Степан, Степан Тихонович Беркутов, и был я с хутора Затонского, что в юрту станицы Вёшенской, и было мне двадцать четыре года, и над левой бровью у меня сидел старый осколочный рубец, оставшийся с германской, — рука сама нашла его и потёрла, прежде чем я успел об этом подумать. Чужая память отдавала мне эти вещи спокойно и без жалости, как отдают наследство покойника: бери, владей, ему всё одно уже ни к чему.

А сам я был другой и был — там. Это знание я держал в себе одном, и держать его оказалось тяжело, как тяжело держать за пазухой раскалённый уголь, потому что там, в той дальней и уже невозвратной жизни, я умирал: был жар, был грохот, был короткий тупой удар в грудь, а после — долгий, тихий провал, в котором не осталось ни боли, ни времени, ни меня самого. Каким образом меня выдернуло оттуда и вложило сюда, в это молодое чужое тело, я не знал и, сколько ни напрягал рассудок, понять не мог, а потому решил покуда не думать об этом вовсе и думать о том, что лежало вокруг и было настоящим.

А лежала вокруг ночь, и снег, и тишина, и в двух шагах от меня, раскинув руки, лежал на спине человек, который уже не дышал.

Я повернул к нему голову — медленно, на палец за раз, как поворачивают её тогда, когда ещё не знают, чьи глаза глядят на тебя из темноты. Старик. Борода торчком, рот приоткрыт, словно на полуслове он удивился чему-то важному и не успел досказать; снег уже припорошил ему открытые глаза и на них не таял. Под затылком натекло и схватилось коркой тёмное пятно — стреляли сзади, в голову, так, как стреляют не в бою, а тогда, когда человек стоит к тебе спиной и деться ему уже некуда.

Дальше за ним лежал второй, и третий, и я считал их, не успев ещё решить, зачем мне этот счёт, — четверо, пятеро, шестеро, — а дальше темнота прятала остальных, и я знал уже

наверное, что их там не двое и не трое. Я лежал среди убитых, и меня, должно быть, сочли убитым заодно со всеми, иначе достреляли бы; стало быть, упал я удачно — вернее, удачно упал тот, прежний Степан, которого сшибли по голове чем-то тяжёлым, и он рухнул в общую кучу, и руки, что ставили людей в ряд и считали их по бумаге, попросту до него не дошли.

Тело само досказало мне остальное — досказало ноющим затылком, разбитой губой, тягучим гулом в ушах: его не пристрелили, его свалили прикладом и бросили за ненадобностью, а после ушёл и я, прежний, ушёл туда, где грохот и жар, и вернулся в эту стылую ночь уже собою.

Я принялся собирать себя, как привык перед делом собирать короткую сводку: что цело, что нет, чем располагаю. Голова цела, хоть и звенит набатом. Рёбра целы — дышать больно, но ровно, переломов нет. Ноги слушаются, руки слушаются. Хуже всего был холод, и это я понимал яснее всего прочего: холод тут злее любого караула, и полежи я в нём ещё час, никакая выучка не подняла бы меня уже с этой земли. Оружия при мне не было. Тепла не было. И своих — тоже.

Своих. Я бы усмехнулся, если бы разбитая губа не отозвалась болью. Каких своих? Не было у меня тут ни единого человека, которого я знал бы по-настоящему, своими глазами, а не чужой памятью мертвеца; зато у того, прежнего Степана, их был полный хутор — отец, сестра, соседи, кумовья, — и половина этого хутора лежала сейчас вокруг меня, в логу, под тонким, ещё не слежавшимся снегом.

Странно было ощущать это тело своим. Молодое, двадцати четырёх лет, неизношенное — а ныло уже по-моему, по-стариковски, будто годы, прожитые мною там, перебрались сюда вместе со мной и легли поверх этих, чужих. И ещё одно: мышцы помнили то, чего не помнил я. Они знали косу. Знали седло. Знали, как сама собой ложится в ладонь шашка. С этим телом, что умело больше моего, мне ещё предстояло поладить.

Я поднялся — сначала на колени, переждал, пока перестанет качаться надо мной чёрное небо, и только потом на ноги. Меня повело в сторону, я устоял. Над логом стояли крупные, чистые, ледяные звёзды, каких в той, прежней моей жизни я почти и не видел, потому что там небо вечно подсвечивалось снизу, заревом большого города, и звёзды в нём тонули и гасли. Здесь же небо висело огромное, чёрное и бездонное, и не было в нём ни единого огня, кроме звёздного, — и вот тут-то правда и дошла до меня по-настоящему, дошла не рассудком, рассудок я успокоил быстро, а тем глухим местом внутри, которым только и доходит до человека настоящая правда: я не просто очнулся в чужом теле — я очнулся в чужом времени, отброшенный на целый век с лишком назад, в зиму, чьё небо ещё не знает, что такое городское зарево.

* * *

Хутор начинался сразу за логом. Я пошёл к нему пригнувшись, держась плетней, как ходят там, где не знают, где стоит караул. Тело шло само. Оно знало дорогу. Оно тут выросло. Я ему не мешал и смотрел.

Смотреть было на что. Хутор не спал — хутор был мёртвый. В обычную ночь по дворам брешут собаки, мычит корова, теплится огонёк в крайнем окне. Здесь не брехала ни одна собака. Их постреляли первыми, чтоб не мешали. Окна стояли чёрные. Хаты казались не домами, а пустыми черепами вдоль улицы.

Пахло гарью. Не печным дымом — тот тёплый, домашний. Эта гарь была мокрая и злая, с примесью того, что лучше не называть вслух. Через три двора догорал курень. Он уже не горел — дотлевал изнутри. В провалах окон шевелился красный угольный свет. Дом будто дышал через силу. Никто его не тушил. Тушить было некому.

Я прошёл мимо колодезного журавля. Под ним валялась опрокинутая бричка. Из-под неё торчала рука. Детская. Я не стал смотреть. Выучка не велела стоять на свету, и я был ей за это благодарен: она дала повод не смотреть.

Память подсказывала имена. Двор Лукерьи Семьиной — пекла хлеба на весь край. Кузня деда Корнея. Плетень, у которого Степан мальчишкой целовал чью-то дочку. Память подсказывала одно, а глаза видели другое. Выбитые ворота. Распахнутые амбары. Зерно, рассыпанное по снегу и втоптанное в него копытами, чтоб не досталось. Это была не драка. Это была работа. Кто-то пришёл и сделал её: разоружить, согнать, поставить в ряд, пересчитать по бумаге, расстрелять.

Я шёл и читал хутор, как читают след. Вот тут волокли — две борозды, между ними тёмное. Вот тут упирались — снег взрыт, на колу клок овчины. На плетне висел детский валежок. Один. В палисаднике валялся в снегу самовар — выкинули, не глянулся. Рядом, лицом в наледь, лежал образ в треснувшем окладе. По нему прошлись каблуком. И вот от этого каблука во мне что-то повернулось. Не от убитых — к убитым глаз уже притерпелся за одну ночь. От каблука на образе. Я запомнил. Я многое в ту ночь запомнил.

Бумагу эту я знал. Знал, как она называется и чем кончится, — да только знать мне это было неоткуда, и я придавил знание в себе, как зажимают ладонью рану, чтоб не растекалась. Раньше оно было для меня строчкой. Теперь стояло вокруг и пахло гарью.

И тут навалилось то, чего я боялся больше холода. Этот хутор был не первый и не последний — я знал это так же твёрдо, как знают, что за зимой придёт весна; только весна тут будет страшнее зимы. Остановить эту волну в одиночку — всё равно что грудью встать поперёк ледохода на Дону. Я держал это в себе, и давило оно крепче приклада. Лучше бы я не помнил. Лучше бы я был просто Степан, который не знает наперёд и оттого ещё может надеяться.

Надеяться я не мог. Я мог только идти.

И тут я услышал коней.

Я лёг раньше, чем понял, что слышу. Тело упало в тень плетня само. Прижалось к земле. Стало землёй. Кони шли шагом — двое, трое. Похрустывал снег под копытами. Скрипела седельная кожа. Кто-то негромко обронил слово. Другой коротко хохотнул.

Разъезд. Возвращались. Может, забыли что. Может, шли добрать.

Мне было всё равно. Мне нужно было не дышать.

Кровь толкнулась в горло. Тело молодое, горячее, оно рвалось бежать. Бежать было нельзя. На снегу, под звёздами, меня было бы видно за версту. Я вжался в землю и стал считать. Не страх — шаги. Старая наука: считаешь — не сорвёшься. Раз. Кони ближе. Два. Голос рядом, скучный, будничный голос человека, наработавшегося за долгий день. Три.

Тень всадника прошла по плетню над моей головой.

Прошла.

Не остановилась.

Кони втянулись в улицу. Голоса отдалились. Растворились в гари и темноте. Я лежал ещё долго после того, как всё стихло, — сколько надо и сколько-то сверху. Потом встал. Колени тряслись, и я злился на эти колени и на горячее чужое сердце, что чуть меня не выдало. Ну да ничего, стерпится. Я отряхнул снег и пошёл к куреню.

* * *

Курень Беркутовых стоял на другом краю хутора, у самой левады, и его не сожгли — это я понял прежде, чем увидел, по тому, как ровно и спокойно легла память: вот этот поворот, вот этот старый пень, а вот тут навстречу должна кинуться собака. Собака не кинулась. Двор стоял тихо, и только в одном окне всё-таки теплился слабый, занавешенный изнутри, но не до конца притушенный свет.

Я подошёл к воротам и встал. За ними меня ждала чужая семья — отец, сестра, — а ждали они не меня, а Степана, которого больше не было. Мне предстояло стать им сыном и братом, не зная толком ни их голосов, ни повадок, ни тысячи мелочей, по которым семья с одного взгляда отличает своего от чужого. Спишут на контузию, решил я: голову мне и впрямь разбили, а что в ней теперь чужой человек — про то знать им незачем. Никогда.

Я толкнул калитку. Она скрипнула.

В сенях что-то лёгкое упало, метнулась тень, дверь распахнулась, и на снег легла жёлтая полоса света. На пороге стояла девчонка — простоволосая, в наброшенном на рубаху зипуне, с лучиной в руке, лет шестнадцати. Она смотрела на меня, и лицо у неё медленно, страшно менялось, будто она увидела не человека, а то, чего не бывает.

— Стёпа... — выдохнула она. — Стёпушка...

Лучина в её руке дрогнула. Я успел шагнуть и подхватить девчонку под локоть, потому что ноги у неё подломились. Настя, подсказала память. Сестра. Настя.

— Тихо, — сказал я сорванным, чужим себе самому голосом. — Тихо. Я живой. Не голоси.

Из глубины хаты раздался тяжёлый, неспешный голос:

— Кто там? Настасья!

И вышел он — старик не годами, годами он был, может, мне и ровесник по той, прежней жизни, а согнутый, седой, с лицом, на котором одна эта ночь оставила больше, чем оставляют иные долгие годы. Тихон Маркович. Отец. Он держал у груди топор — не замахнуться, а так, как держат последнее, что осталось. Увидел меня. Встал как вкопанный. И топор медленно пошёл вниз.

— Живой, — сказал он. Не спросил — сказал, будто пробовал слово на вес. — Поглядите, люди. Живой.

— Батя, — сказал я, и слово легло в рот само, чужое и нужное.

Он шагнул ближе, всмотрелся. Глаза у него были тёмные, глубоко сидящие, и они ощупали меня всего — лицо, разбитую губу, засохшую на виске кровь, чужую мне, Степанову кровь.

— Мы тебя в логу искали. С Настькой. Затемно. — Он говорил тихо, и скулы у него ходили. — Я уж тебя отпел про себя, сынок.

— Рано отпел, — сказал я.

Хотел мягче, а вышло сухо. Он глянул на меня коротко и остро — не так, как глядят на воскресшего сына, а так, как глядят, когда чувят неладное, а что именно, понять не могут. Я отвёл глаза. Рано. Слишком рано он что-то почувал.

— Идём в хату, — сказал он уже иначе, по-хозяйски. — Настька, не стой столбом. Воды согрей. Да ставни доглядеть, чтоб ни щёлочки не светило: не ровён час, вернутся пересчитывать.

В хате было тепло и пахло так, как, верно, пахло тут всегда — печным дымом, овчиной да сухим чабрецом по углам. Я опустился на лавку у печи, и тепло навалилось на меня всей тяжестью, и тело сразу обмякло, поплыло, запросилось в сон, и я не дал ему этого сна. Настя сунула мне в руки кружку — молоко, тёплое, с печным духом. Пальцы не разгибались от холода, и я держал кружку всей пятернёй, как держат непослушными, отходящими от стужи руками.

— Пей, — сказала она и присела рядом на корточки, заглядывая снизу мне в лицо. — Стёп, а Стёп. Ты чего такой?

— Какой?

— Тихий. — Она подбирала слово и не находила. — Ты завсегда не такой.

— По голове крепко дали, — сказал я. — Гудит. Не серчай, ежели чего перепутаю.

Это была первая моя ложь в этом доме, и она прошла гладко. Настя кивнула, поверила сразу, всей душой поверила, и от лёгкой этой её веры мне сделалось муторно. Девчонка. Шестнадцать лет. Я знал, что её ждёт, — не её одну, всех их, — и не мог сказать ни единого слова.

Настя возилась у печи, гремела заслонкой, наливала воду в чугунок — руки делали привычное, а сама нет-нет да и оглядывалась на меня, будто проверяла, не привиделся ли. Потом подошла к окну, тронула ставень, поправила на нём дерюжку, чтоб ни щёлочки не светило наружу. Маленькая, в большом не по росту зипуне, она хлопотала так, словно от плотно при-

крытого ставня и впрямь зависело, придут к нам этой ночью или минуют. Может, в её шестнадцать оно так и было.

Тихон Маркович сел напротив, положил на стол тяжёлые руки и долго молчал. Он всё смотрел на меня через стол, и в тёмных его глазах стояло то, чего я боялся больше всего.

— Коня-то своего помнишь? — спросил он вдруг, тихо, будто меж делом, а сам не сводил с меня глаз.

Память подсунула раньше, чем я успел оробеть: рыжий, со звёздочкой во лбу, левое ухо рвано.

— Рыжего, со звёздкой? — отозвался я. — С драным ухом. Где он, батя?

— Свели. В первую же ночь свели со двора. — Он наконец отвёл взгляд, и плечи у него опустились. Помолчал, добавил тише: — Помнишь, стало быть. Ну и слава Богу.

Пронесло. Но я уже понял: проверять меня он будет ещё не раз, исподволь, может, и сам того не сознавая. И не он один в хуторе.

Где-то далеко в ночи коротко тьякнул выстрел — один — и снова стало тихо.

— Шестерых увели в лог, — сказал он наконец, глядя в стол. — Корнея-кузнеца. Семиных. Свата Назара. — Он перечислял имена ровно, без слёз, как читают поминанье, потому что слёзы свои он, видно, выплакал ещё затемно, там, в логу. — Списочек у них был. По бумажке вычитывали. Кто при старом режиме урядником ходил, кто Георгия имеет, кто на сходе против совдепа язык распускал. — Он поднял на меня глаза. — А ты, Степан, и урядник, и Георгий при тебе. И тебя в ту бумажку вписали. Тебя первым искать придут, как сочтут, что одного недосчитались.

— Много их в станице? — спросил я тихо, по-будничному, как спрашивают про погоду, а сам слушал не слова, а то, что стоит за словами.

Тихон Маркович повёл плечом.

— Кто ж их считал. Сотня, может, и поболее. С пулемётами. На площади, в правление, штаб поставили. Комиссар у них новый, сказывают, из приезжих, не нашенький. — Старик помолчал. — Лютый, говорят. Не пьёт, не орёт. Тихий. От тихого-то вся и беда.

Я запоминал. Сотня, может, больше. Пулемёты. Штаб в правлении. Комиссар из приезжих, непьющий, тихий. Каждое слово ложилось на место, как ложится патрон в обойму, — покуда без цели, впрок, но ложилось крепко. Старик принимал это за обычное любопытство напуганного человека, а я снимал обстановку, как снимал её всю свою прежнюю жизнь, и ничего не мог с собой поделывать: голова работала сама, как работает она у того, кого долго этому учили.

— А по хуторам что? — спросил я.

— По хуторам разьезды гоняют. Хлеб метут подчистую, скотину сводят. Кто слово поперёк — к стенке без разговору. — Тихон Маркович тяжело посмотрел на меня. — Да ты чего всё выпытываешь, сынок? Бежать удумал? Так беги, покуда не поздно. Только куда ты теперь побежишь — кругом они.

Вот оно. Я держал кружку и смотрел в белое молоко, и в голове у меня — у того, прежнего, начитанного — холодно и быстро складывалось всё, что я знал про эту зиму и про эту весну. Только теперь оно складывалось не в строчку из книги, а в наган у виска. Меня уже вписали в список. Меня уже один раз поставили в лог. Лежать и дожидаться, пока поставят второй раз и пересчитают как следует, я не собирался.

— Не придут, — сказал я.

— Это как же не придут? — Тихон Маркович свёл седые брови. — Придут, и спрашивать не станут.

Я поставил кружку на стол. Руки уже отошли, слушались. Большим пальцем я потёр рубец над бровью — привычка, доставшаяся мне вместе с телом; я не стал ей мешать, она помогала думать.

— А так не придут, батя, что меня тут не будет, — сказал я. — И в логу больше не будет. И вычёркивать в ихней бумажке будет некого.

Старик долго смотрел на меня. В тёмных его глазах стояло то же, что мелькнуло во дворе, — недоумение, тревога и тень догадки, которую он сам от себя гнал. Сын вернулся с того света другим: тише, твёрже, чужее. И говорит не как Степан, а как человек, который уже всё про себя решил и только ещё не сказал вслух, что именно.

— Ишь, — обронил он наконец, и не разобрать было, чего в этом «ишь» больше — испуга или одобрения. — Ишь ты.

Настя переводила взгляд с него на меня и обратно и ничего не понимала, и хорошо, что не понимала. За окном догорал чужой курень. Где-то по хутору ещё ходили кони, считая живых и мёртвых, деля их по своей бумаге на тех, кого можно уже вычеркнуть, и тех, до кого руки покуда не дошли.

На стене, в простенке меж окон, висела шашка — старая, в потёртых ножнах, с потемневшим от ладоней эфесом. Память отдала мне и её: дедова была, потом отцова, а на германскую её взял Пётр, старший брат, — взял да и не вернул, лёг где-то под Барановичами, а шашка вот вернулась домой без него и висела теперь, дожидаясь неизвестно чего. Я смотрел на неё через всю горницу и уже знал, что сниму её со стены. Не нынче ночью. Но сниму — и не затем, чтоб она и дальше пылилась в простенке.

До меня они дойти не успеют. Это я решил твёрдо — там же, на лавке, у тёплой печи. Как — покуда не знал. Знал одно: к свету меня в хуторе быть не должно, а к тому дню, когда они вернуться пересчитывать, у меня для них должен найтись ответ.

Я допил молоко и поставил кружку на стол. За ставнями серело. По спискам нас не будет.

Глава 2

Спал я мало и худо, а проснулся затемно — по старой, не этой ещё привычке вставать раньше всех, — и долго лежал с открытыми глазами, привыкая к тому, что потолок надо мной чужой, низкий, с закопчённой матицей, и что лежу я не там, где когда-то засыпал, а на сто лет назад и за тысячу вёрст от всякого знакомого мне места. За дощатой переборкой ровно дышали двое — отец и Настя; под полом скреблась мышь; от остывшей за ночь печи тянуло обжитым, тёплым ещё духом золы и хлеба, и в этом духе было столько мирного, домашнего, ничего не знающего о вчерашней ночи, что у меня на минуту сдавило горло. Я поднялся тихо и вышел на баз, как был, в одной рубахе, — и холод сразу обхватил, привёл в чувство, прогнал остатки дурного сна. Светало по-зимнему нехотя, медленно. Двор лежал передо мной серый, притихший: плетень, поветь, колодезный журавль, тёмная громада брошенной риги. Память услужливо подсказывала, что и где, — вот хлев, вот амбар, вот летняя кухня, — и я ходил по чужому двору, как ходят по своему, и от лёгкости, с какой ноги сами несли меня куда надо, делалось не по себе. Тело знало этот двор до последнего гвоздя. Я не знал ничего. Скотины почти не осталось. В хлеву стояла одна корова, тощая, с провалившимися боками, да жались в углу две овцы; память сказала, что было много больше, что свели на той неделе, по разрядке, оставив эту худобу из милости, «на развод». Я постоял возле коровы, потрепал её по тёплой шее — больше чтоб занять руки, чем по делу, — и руки сами нашли подойник, сами проверили, есть ли сено, сами сделали с десятка мелких хозяйских движений, которым мне, прежде, взяться было неоткуда. Со стороны поглядеть — справный казак вышел поутру оглядеть хозяйство. А внутри этого казака сидел человек, что корову последний раз видел разве на картинке и которому всё давалось чужой, заёмной сноровкой, как даётся вызубренная на зубок чужая роль. Я взял у поленицы топор и пошёл колоть на растопку — не оттого, что приспело, а оттого, что руки просили дела, а голова просила тишины. И тут вышло то, от чего по спине пробежал холодок: руки сделали всё сами. Сами поставили чурбак, сами развернули топор обухом проверить насадку, сами нашли в полене ту единственную трещинку, по которой оно идёт надвое с одного удара. Я, прежний, колол дрова раза три в жизни и всякий раз боялся отмахнуть себе ногу. Эти руки не боялись. Они знали в дереве то же, что я знал когда-то в своём ремесле, — где слабина и куда бить. И вместе с движением, само собой, поднялось чужое — не картинкой даже, а запахом, тяжестью в плечах: как кололи эти руки дрова не здесь, а там, на постое, в шестнадцатом, и рядом стоял старший брат Пётр, живой ещё, и что-то говорил, и смеялся, и от смеха его в груди у меня — у Степана, у нас обоих — заныло так, что я опустил топор и постоял, переводя дух. Чужая память отдавала мне не одни дороги и лица. Она отдавала любовь и потери, которых я не прожил, — и нести их приходилось как свои, потому что отказаться было нельзя: откажешься от Петра, а Настя завтра спросит про брата, и в глазах у тебя будет пусто. Двадцать четыре года. Целая жизнь, прожитая до меня кем-то другим, — и мне её теперь донашивать, как донашивают шинель с убитого: тепло, впору, а всё чужой пот на вороте. Я доколол растопку и разогнулся. Над буграми, где в полутора верстах лежала станица, стоял дым — не реденький печной дымок мирного утра, а жирные стоячие столбы, какие бывают, когда жгут не дрова. Я смотрел на них и прикидывал — не умом даже, а нутром, как прикидывают расстояние перед броском: полторы версты по чистому, балкой ближе, да балку наверняка стерегут. Прикидывал и сам себя осаживал. Рано. Один наган под порогом да дедова шашка в стрехе — против сотни и пулемётов. С такой арифметикой в атаку не ходят. С такой сперва думают, а уж после ходят. — Рано встал. Отец стоял на пороге, в накинутом полушубке, и смотрел на меня так же, как ночью, — ровно, испытующе, будто решал про себя задачу и всё не мог решить. Я выпрямился. — Не спится, батя. — Оно и видать. —

Он сошёл с крыльца, заглянул в хлев привычно, по-хозяйски, и я понял, что и он вышел сюда не корову смотреть, а меня. — Голова-то как?— Гудит ещё. Туман в ней.— Туман, — повторил он, словно слово это чем-то пришлось ему кстати. — Ты, Степан, при чужих помалкивай покуда. Контужен, мол, не в себе после плена. Меньше скажешь — меньше спросят. — Он помолчал и прибавил тише, не глядя на меня: — А что переменялся ты — про то я и сам вижу. Да время ноне такое, что лучше переменявшийся живой, чем прежний в логу. Уразумел?Я уразумел. Понял больше, чем он сказал: старик не верил, что перед ним прежний его сын, но решил не доискиваться — ни сейчас, ни, может, вовсе. Война научила его не трогать того, что держится, покуда оно держится. Контузия была не моей выдумкой — он сам, своими руками, подал мне эту легенду, как подают раненому костыль, и сам на неё опёрся, потому что так ему было легче жить дальше. Я костыль принял. Мне он был нужнее.— Понял, батя, — сказал я. — Спасибо.— Бога благодари, не меня, — буркнул он и пошёл задавать корове. Тем первый мой разговор в новой жизни и кончился, а был он, если разобраться, важнее многих, что пришли после: в нём мы со стариком, не называя вещей по имени, уговорились друг друга не выдавать.* * * Народ к Беркутовым потянулся, едва развиднелось. Так, видно, повелось тут исстари — сходитья поутру к чьему-нибудь баз, перекинуться словом, узнать, что слышно; только теперь сходились не посудачить, а как сходятся на пожарище — поглядеть, кто ещё жив.Первой пришла соседка через два двора, тётка Дарья — простоволосая, с серым, как зола, лицом, в накинутом на плечи мужнином зипуне. Говорить она начала прежде, чем вошла, тем голосом, какой бывает у человека, что плакал всю ночь и выплакал уже не слёзы, а самый голос:— Тихон Маркыч, увели моего-то. Прохора увели, ирод их заberi. В ночь, с прочими. В станицу свели, в подвал. Заложники, говорят. За главу, мол, в ответе вся станица. — Она увидела меня и осеклась было, да махнула рукой: свой. — Стёпа, живой Слава те. А мой вот— Сядь, Дарья, — сказал отец. — Сядь, не голоси. Расскажи с толком. Она опустила на лавку у плетня, комкая конец платка, и стала рассказывать — сбивчиво, перескакивая, — а я слушал так, как привык слушать всю прежнюю жизнь: отсеивая жалобу, выбирая зерно. И зерно было. — Сколько их в станице стоит, не знаешь? — спросил я, присев напротив, негромко, будто из простого сочувствия.— Кто ж их сочтёт, родимый. Тьма. Конные, пешие. На площади пушку поставили, у церкви — пулемёт. В правленья главные ихние засели, комитет. Из иногородних всё больше да из приезжих. — Дарья всхлипнула. — А заправляет один, в кожаной тужурке, очкастый. Тихий, не кричит вовсе. Он списки и чёл. Моего Прохора по списку же— А кто у них в комитете? Из наших кто пристал? Дарья поджала губы, оглянулась, понизила голос, хоть чужих вокруг и не было:— Из наших мало. Голь, кому терять нечего. Да слободские мужики, иногородние, эти ныне в силе. А над ними — приезжие. — Она помолчала. — Журавлёвых Федька, слышал? К ним подался, в комитет. Отец от него отрётся, на люди не кажется со стыда. Имя я запомнил вместе с прочим — Журавлёв, Федька, из своих, перешёл к красным, — хотя что оно значит, покуда не знал. В прежней жизни я насмотрелся, как война режет семьи надвое не по злобе, а по убеждению, и как потом эти половины стреляют друг в друга злее, чем в чужих. Тут шло, видно, к тому же.— Не суди Федьку, Дарья, — неожиданно сказал отец. — Он за правду пошёл, как сам её понял. Беда не в том, что пошёл, а за кем. — Он перекрестился на тёмный угол. — Бог им судья. Нам бы своих из подвала вынуть.— Вынешь их, как же, — горько отозвалась Дарья. — Из-под пулемёта.— А где держат — точно знаешь? В правленья или где?— В церковном подвале, родимый, под Никольской. Туда и снесли. Сторожат, ясно дело. — Она вытерла нос концом платка и вдруг вскинула на меня глаза, и в них сквозь горе мелькнуло удивление. — Да чего ты заладил — где да сколько? Чудной стал. Прежде слова путём не вытянешь, а ноне выпрашиваешь, ровно урядник.— Контузило его, — спокойно сказал от хлева отец, не оборачиваясь. — Не приставай.— Ох, грехи, — вздохнула Дарья и сразу про свой вопрос забыла, потому что у горя короткая память на чужие странности. — У всех ныне контузия: у кого голову, у кого душу Что ж теперь будет-то, Тихон Маркыч?— Что

Господь пошлёт. Терпеть будем. Казак крепок терпежом.— Натерпелись уже, — глухо сказала она. — По самое горло. Я молчал и складывал. Гарнизон в станице — конные и пешие, при пулемёте и орудии. Штаб и комитет — в правлении. Заложники, десятка три, — в подвале под Никольской церковью, не кормлены, взяты за «главу», то есть за всякую вину станицы разом. Главный — в кожаной тужурке, в очках, тихий, читает списки сам. Тот самый, про кого ночью говорил отец: непьющий, неоружий, лютый. Имени его я ещё не знал, но знал главное: это не пьяная вольница, какую берут на испуг. Это человек порядка. С такими я в прежней жизни дело имел и знал, что страшны они не злобой, а ровностью: злоба выдыхается, порядок — нет. — Батя, — сказал я, когда Дарья, поплакав ещё, ушла к себе. — Наган мой да шашка — целы, говоришь? Отец долго молчал, глядя в землю. Потом проговорил тяжело:— Шашка дедова в стрехе схоронена. Наган твой с фронта — под порогом, в кубышке. Думал, пропадёт добро. — Он поднял на меня глаза в упор. — Ты к чему клонишь, Степан? Говори прямо, не вилай. Глядеть на тебя — будто ты не горюешь, а считаешь.— Считаю, батя, — сказал я. Соврать ему ещё раз не вышло. — Только покуда сам не знаю что. * * * Досчитать мне не дали. Конский топот в проулке я услышал прежде стука в ворота — выучка сработала раньше головы, и я уже стоял лицом ко входу, когда створки, не дожидаясь ответа, распахнулись настезь. Во двор вошли четверо. Трое с винтовками за спиной, в шинелях не по росту; четвёртый, старший, — в кожанке, с маузером в деревянной кобуре на боку и красной лентой через папаху. Продотряд.— Хозяин кто? — Старший оглядел двор оценивающе — не двор, а добычу. — Сдавай излишки. Хлеб, скотину. По мандату.— Какие излишки. — Отец заступил было дорогу, но без напора, как заступают, зная наперёд, что не выстоишь. — Свели всё на той неделе. Корова одна, на развод обещали.— Обещали — забыли. — Старший мотнул головой, и двое пошли к хлеву по-хозяйски, как ходили, видно, уже не первый двор. Третий шагнул в курень. Из хлева вывели корову. Она упиралась, мотала головой, скользила копытами по наледи, а Настя на крыльце прижала ко рту кулак, чтоб не закричать. Из амбара второй выволол мешок проса — последний, припрятанный, — надорвал, заглянул, кивнул: годится, закинул на плечо. Третий вышел из куреня с узлом: материн праздничный платок с кистями да образок в окладе. Сунул образок в карман не глядя. Настя дёрнулась. Отец положил ей руку на плечо — крепко, так, что побелели костяшки. Я стоял и не двигался. Это было труднее всего за минувшие сутки — труднее лога, труднее ночного разъезда. Там надо было не дышать. Тут надо было не делать. Стоять столбом и смотреть, как со двора выносят последнее, и не дать телу — молодому, горячему — рвануться к этим трём винтовкам на ремне. Я держал его, как держат на коротком чумбуре злого коня: ровно, всем весом, без рывка. А голова между тем считала сама, помимо воли. Четверо. Три трёхлинейки на ремне, один маузер в кобуре. Гранат не видать. Идут вразвалку, спин друг другу не берегут, у ворот дозора не выставили — добыча, не служба. Старший куражлив, пьян не вином, а лёгкостью своей власти. Покуда снимут винтовки с ремня — я троих достану. Эта мысль пришла сама, холодная и точная, и я её отодвинул. Не время. Не место. Не четверых тут считать, а сотню в станице. Старший подошёл ко мне вплотную, оглядел — молодого, крепкого, не в себе по виду. — А этот чего вылупился? — Он ткнул меня пальцем в грудь. — Урядник бывший? Морда казачья.— Контуженный он, — быстро сказала с крыльца Настя. — С плену вернулся, не в себе. Не сердчайте, дяденька. Я смотрел сквозь старшего, в одну точку за его плечом, и пустил на губу слюну — самую малость, ровно сколько надо, чтоб картинка сошлась. Внутри стоял ровный белый жар, страшнее всякого крика, а снаружи — дурак дураком. В голове шёлкнуло и сосчиталось само: горло, под ухо, колено. Снаружи — ничего. Пустые глаза, слюна на подбородке.— Тю, и впрямь порченный, — хмыкнул старший, теряя ко мне охоту: с дурака взятки гладки. Он отступил и повысил голос, обращаясь уже ко всем, кто был на базу и за плетнём: — Слушай сюда, хутор! Завтра на рассвете всем до единого быть на станичном майдане. Старым, малым, бабам — всем. Перекличка. Кто не явится — пойдёт по списку как скрывшийся. А что бывает по списку, вы намеренно видали. — Он усмех-

нулся складно сказанному и пошёл к воротам. — На рассвете. Не опаздывать. Они ушли так же, как пришли, — не затворив за собой ворот. Корова мыкнула в проулке, отдаляясь, и этот мык был тоскливее всякого плача. Настя сбежала с крыльца было следом, отец перехватил, прижал. А я всё стоял, утирал с подбородка пущенную для дела слюну и глядел в пустой проулок, где оседала поднятая копытами снежная пыль. Завтра на рассвете. Вся станица на майдане. Переключка по спискам. Что именно будет на том майдане, я в точности не знал — память моя держала общую картину тех месяцев, но не держала числа и часа этого хутора. Зато я хорошо знал, чем кончаются переключки по спискам, когда правит ими вот такой — в очках да в кожанке, непьющий и неоруший. И знал, что отвертеться нельзя: не явишься — спишут заочно, явишься — поставят в строй и пересчитают. И ещё знал, поверх всего, ту простую вещь, ради которой и стоял сейчас, утираясь: один я завтра на майдане не спасу никого — ни Прохора из Дарьиного подвала, ни себя, ни вот эту Настю, что вырывается из отцовых рук. Значит, до рассвета у меня была ночь. Одна короткая зимняя ночь — чтобы придумать, как из бессилия выкроить хоть малую, а силу. * * * Дом уснул не сразу. Долго ещё за переборкой ворочался отец, тяжело вздыхал, шептал что-то — не то молитву, не то перебор с самим собой; потом затих и он. Настя уснула раньше, по-детски, разом, как засыпают в шестнадцать лет даже в самую страшную ночь, потому что молодое тело своё берёт. Я лежал на лавке не раздеваясь, заложив руки за голову, и ждал, покуда дыхание за переборкой не выровняется совсем, — а сам всё это время думал, медленно и обстоятельно, как привык думать перед делом, когда спешка дороже всего обходится. Когда дом затих, я поднялся. Половицу у порога память нашла прежде рук — третья от стены, со щербиной. Я поддел её ножом, и она вышла легко, без скрипа, как выходит то, что вынимали не раз. В холодной земляной нише стояла кубышка — обмотанный тряпьем глиняный горшок. Я размотал. Наган лежал в промасленной ветоши, и я взял его прежде, чем успел подумать, и ладонь сложилась вокруг рукояти так, будто и не расставалась с ней, — хоть моя-то рука его, по правде, никогда и не держала. Опять то же: тело знало вещь, которой не знал я. Я сел к печи, к красному, ещё живому в золе свету, и переломил наган. Делал я это медленно, на ощупь, не глядя, — так, как делают вещь в тысячный раз, и так, как меня учили когда-то в другой жизни: оружие проверяют пальцами, а не глазами, потому что глаз обманет, а палец нет. Барабан полон, семь. Боёк цел. Пружина тугая. Ветошь сухая. Всё исправно — прежний Степан держал своё добро в порядке, и за это я был ему благодарен, как бываешь благодарен надёжному, хоть и незнакомому напарнику. Шашку доставать не стал: она в стрехе, лезть туда ночью значило шуметь, а шуметь было нельзя. Хватит и нагана. Не для завтрашнего дня хватит — завтра на майдан с наганом не пойдёшь, завтра надо идти пустым, дурак дураком, стоять в строю, терпеть и смотреть. А вот после майдана Я грел в ладони холодную сталь и наперёд знал, что после майдана будет худо. Память не давала мне числа, но давала закон, по которому всё это движется, а закон был прост и страшен: очкастый комиссар стогоняет людей на площадь не затем, чтоб пересчитать, а затем, чтоб проредить. Завтра кто-то из тех, кого я увижу поутру живым, к полудню ляжет. И я ничего не сумею сделать. Один наган против пулемёта — не сила, а способ красиво умереть; а красиво умирать я не собирался — с того и начал когда-то своё ремесло, что выучился делу прямо обратному. Сила была в другом, и это я знал не хуже устройства нагана. Сила была в людях. В тех, кого согнали назавтра на майдан, разоружили, запугали, поставили на колени, — но кого не убил числом настолько, чтоб смириться. Гнев в хуторе был, я чувал его весь день — в Дарьином причитанье, в белых костяшках отца на Настинном плече, в тяжёлом молчании мужиков у плетня. Гнев был. Не было того, кто свяжет его в кулак. Стихия сама в кулак не сожмётся — её надо собрать, и научить, и не дать растечься попусту в первой же сшибке. Вот это я умел. Это, может, единственное, что я умел тут по-настоящему лучше всех. — Не спишь. Отец стоял в дверях горницы, седой, в исподнем, и смотрел на наган в моей руке. Прятать я не стал — поздно, да и незачем. — Не сплю, батя. Он подошёл, сел напротив на корточки, по-стариковски кряхтя, и долго глядел в красную золу. Потом сказал,

не поднимая глаз:— Завтра на майдане ты у меня дурака валяй, как ноне валял. Слюну пускай, в землю гляди. Чтоб ни одна собака на тебя дважды не оглянулась. — Он помолчал. — А что задумал — мне не сказывай. Не потому, что не верю. Потому, что возьмут меня — выпытают. А чего не знаю, того не выдам. Я смотрел на него и понимал, что старик далеко не прост и что под личиной богомольного терпенья в нём сидит та же твёрдая, считающая кровь, что и во мне. Он меня не отговаривал. Он меня берёт — единственным способом, какой ему остался: уча не доверять даже ему.— Добро, батя. Не скажу. Он кивнул, поднялся так же, с кряхтением, и пошёл было к себе, да в дверях остановился.— Шашку дедову, — сказал он в темноту, не оборачиваясь, — возьмишь — бери с умом. Она у нас не игрушка. Ею Пётр — Он не договорил. Постоял и ушёл. Я завернул наган обратно в ветошь, но в кубышку класть не стал — сунул за пазуху, к телу. За плотно прикрытым ставнем в щель уже сочилась серая муть. Светало. На том краю хутора поскрипывали полозья, негромко переговаривались — люди собирались идти на майдан, как велено, всем хутором, старым и малым, на перекличку по спискам, которую будет править очкастый из станицы. Я встал, оправил рубаху, прикрыл ладонью тёплый ещё бок нагана под нею. Пора было будить Настю.

Глава 3

На майдан станицу согнали к рассвету, когда снег ещё лежал синий, до-утренний, и общее дыхание толпы стояло над ней одним белым облаком, что не таяло в неподвижном морозном воздухе. Гнали со всех окрестных хуторов разом — пешими, по разбитому шляху, под конвоем конных; кто отставал, того подгоняли прикладом в спину, без злобы, буднично, как подгоняют скотину на базар, и эта будничность была страшнее всякой свирепости. Мы шли втроём: я, отец и Настя. Я держал сестру под руку — не затем, чтоб поддержать на скользкой дороге, а затем, чтоб всё время знать, где она, чтоб чувствовать её рядом, если вдруг придётся хватать и тащить. Майдан станицы Вёшенской я узнал прежде, чем вышел на него, — узнал чужой памятью: вот она, белая Никольская церковь с зелёным куполом, вот торговые ряды, вот станичное правление с резным крыльцом. Только память показывала это место иным — людным, праздничным, в возах и гомоне, в перезвоне к обедне, — а глаза мои увидели площадь, сжатую в кулак. По краям её, разомкнувшись в цепь, стояли конные. У церковной ограды, на дощатом возвышении, чернел пулемёт, и при нём грелись над сигарками двое, скучая, как скучают люди на привычной, надоевшей уже работе. Перед правлением вынесли стол, накрытый красным кумачом, и этот кумач был единственным ярким пятном на всём сером, стьлом, притихшем майдане — пятном, на которое больно было смотреть, как больно смотреть на кровь по снегу. За столом сидел человек. Я выделил его сразу — так, как выделяешь в чужом строю старшего: не по знакам различия, особых знаков на нём не было, а по тому, как держались вокруг него все прочие. В кожаной тужурке, в круглых очках, чисто, до синевы выбритый, он сидел очень прямо и почти неподвижно; перед ним лежала стопка бумаг, и он не кричал, не суетился, не озирался — он просто был тем средоточием, к которому стягивалось всё на этой площади, как стягиваются железные опилки к спрятанному под бумагой магниту. — Сам приехал, — выдохнул кто-то за моей спиной, тихо, одними губами, и в этом шёпоте был не страх даже, а оторопь. — Северин. Из округа. Имя легло в меня и осталось. Я не обернулся на сказавшего — я смотрел на стол и запоминал, потому что запоминать было единственным, что я мог сейчас делать с пользой. Пулемёт у ограды крыл сектором весь майдан: мёртвых зон почти нет, разве у самого правления, под стеной. Конных за полсотни — часть в цепи, часть в резерве, у крыльца. Пешие при винтовках рассыпаны меж рядов толпы, ленивые, но трезвые: Северин, видать, пьяных при себе не держал. Сам он сидел так, что за спиной у него была глухая стена правления, а перед ним — вся площадь как на ладони; ни подойти к нему незаметно, ни зайти со спины. Человек, который заранее думал, откуда к нему может прийти беда, и заранее закрывал эти двери. Таких я и в прежней жизни встречал нечасто, а встретив — не торопился. — Тихо стой, — шепнул отец, не разжимая губ, глядя прямо перед собой, в спины передних. — В землю гляди. Тебя тут многие в лицо знают. Я опустил глаза и стал ждать вместе со всей площадью — ждать того, чего ещё толком не знали, но уже чуяли нутром, как чует скотина грозу задолго до первой зарницы. Я стоял в гуще чужих и не чужих лиц — память то и дело выхватывала из толпы знакомое: вон Степанов одногодок, с которым ходили когда-то на маёвки; вон старуха, что отпаивала Степана травами в детстве; вон через три головы соседи, кумовья, полстаницы родни, седьмая вода на киселе, какая бывает только в старых казачьих юртах, где все за сто лет перероднились между собою. И всех этих людей, знакомых мне взаимно, чужой памятью, сейчас держали на холоде, тесно, как держат гурт перед клеймением, и над ними висело то самое предчувствие, от которого у скотины западают бока, а у людей деревенеют лица. Я глядел на эти лица и поверх Степановой к ним приязни вёл свой холодный счёт: сколько тут мужиков годных, сколько стариков, сколько баб; кто согнут страхом насовсем, а у кого под страхом ещё ходят желваки; и выходило по тому счёту, что согнуть-то их согнули, а сломать ещё не сломали, и в этом несломленном, тлеющем под пеплом был для меня единственный на всём майдане

проблеск того, что можно было назвать надеждой. А мороз меж тем делал своё нехитрое дело: пробирал сквозь чекмени и зипуны, выстуживал ноги, и люди потихоньку, незаметно для самих себя, начинали переминаясь, жаться друг к другу теснее, и вся толпа жила оттого медленным общим бессознательным движением, как живёт остывающее стадо. И в этом был расчёт — я понял его не сразу, а поняв, похолодел не от мороза: их подняли затемно и держали на стуже, голодных, не спавших, нарочно, чтобы к тому часу, когда комиссар развернёт свои бумаги, перед ним стояла бы уже не станица со своим гонором и своим Кругом, а просто триста озябших, насмерть напуганных людей, готовых на всё, лишь бы поскорее по домам, к теплу. Холод и страх делали половину работы за него. Вторую половину он собирался сделать сам — бумагой да пулей. А надо всем этим стояла Никольская — белая, с зелёным куполом, спокойная, как стоит церковь над всяким людским горем третью сотню лет. Колокол на ней молчал. К обедне не звонили — то ли запретили, то ли некому стало; и это молчание колокола над майданом, полным народом, было таким неправильным, так против всего здешнего обихода, что от него одного делалось жутко. А я знал ещё и то, чего не знала, замерев, толпа: что там, под этой самой белой церковью, в холодном её подвале, сидят сейчас Дарьин Прохор и с ним десятки других и слушают снизу, сквозь толщу камня и мёрзлой земли, как над их головами ходят по церкви чужие сапоги. Церковь стояла над живыми, запёртыми внизу, и над мёртвыми, что лягут сейчас наверху, и молчала, и в молчании её не было ни защиты, ни укора — одно лишь терпение камня. Северин поднялся. И едва он встал, говор по майдану опал сам собой, будто прижали ладонью. Он не возвышал голоса — напротив, заговорил негромко и ровно, так, что задним рядам пришлось вытягивать шеи и задерживать дыхание, чтоб расслышать; и в этой нарочитой негромкости было больше власти, чем во всяком крике, потому что кричит тот, кто боится, что его не послушают, а тихо говорит тот, кто знает, что послушают непременно. — Граждане казаки. — Он чуть помедлил на слове «граждане», словно пробуя его на этой площади, где сроду не водилось никаких граждан, а были станичники, хуторяне, односумы. — Советская власть не воюет с трудовым казачеством. Власть карает врага — то есть тех, кто с оружием в руках или с тайной злобой в сердце стоит поперёк дороги трудовому народу. Нынче мы установим, кто здесь кто. Это недолго. Он говорил «это недолго» так, как говорит лекарь перед тем, как рвать зуб, — и в этом будничном обещании краткости было самое страшное: для него и впрямь было недолго. Привычно. Не первая станица и не последняя. Я слушал его ровный, без единой зазубрины голос и понимал, что ненависти к нам в нём, пожалуй, и нет вовсе, — а есть холодная убеждённость человека, который точно знает, как надо, и делает, как надо. И оттого он был опаснее всякого, кто лютует со зла: злого можно вывести из терпения, подловить на ярости, на похмелье; а этого — нечем. Машина не пьёт, не выходит из себя, не делает глупостей сгоряча. Машину можно только сломать. Он сел и придвинул бумаги. И начал читать. * * * Список он читал ровным голосом, без выражения. Как читают накладную. — Поляковы, двор семнадцатый. Глава — вахмистр старой службы. Двое пеших нырнули в толпу. Выдернули. Повели к ограде. Никто не упирался. Упираться было некому и нечем. — Каргин Пантелей. Урядник. Два Георгия. Снова нырок. Снова за ограду. Старик шёл сам, прямо, не оглядываясь. — Лиховидовы, двор девятый. Сын — у белых. Толпа колыхнулась. Бабий вскрик — и осёкся. — Грачёв Кузьма. Сын в отступе с белыми. Нырок. За ограду. — Дударев Гордей. Хорунжий. Старик с палкой. Пошёл сам, не оглянулся. Список не спешил. Список был терпелив. Палец вёл по строчкам, голос называл, пешие ныряли в толпу и выдёргивали, и снег у ограды наполнялся стоящими. Кого не к ограде — тех в особый ряд, под конвоем: семьи беглых, родню, баб. Этих в подвал, в заложники. Как Дарьиного Прохора. Я считал. Не имена — выводы. Берут фронтовиков. Берут урядников, хорунжих. Берут тех, у кого сын или брат у белых. Метут по чину и по крови. По этому счёту я шёл первым номером: и урядник, и Георгий, и в логу уже отлежал. А меня не назвали. Покуда. Хутора, видать, чли отдельным списком. Наш черёд впереди. Я стоял в строю и слушал, как читают людей. Не имена — людей. Каждое имя на миг делалось челове-

ком: вот он отделяется от толпы, вот идёт по снегу, вот встаёт у белой стены. И гаснет. Список не спешил. Список был терпелив. Тихий человек за столом перелистывал страницу, вёл пальцем, называл — и пешие ныряли, и выдёргивали, и вели. — Чумаков Игнат, сват Беркутовых. Я не сразу понял, что названо имя, которое меня касается. А когда понял — было поздно. Чужая память дёрнулась во мне прежде, чем я успел её удержать. Я узнал старика, что зашаркал из соседнего ряда к ограде. Узнал, как узнают родного. Дед Игнат. Степанов крёстный. Сосед. Тот, что сажал мальчишку Степана на колени и звал не иначе как «Стёпка-внучок». Память ударила одним, разом: тяжёлой, в коричневых пятнах рукой у себя на мальчишеской макушке — его рукой. И тот же голос я услышал теперь наяву. Проходя мимо нашего ряда, дед Игнат поднял голову, нашёл меня глазами и сказал — не испуганно, а удивлённо, будто только сейчас, на пути к смерти, заметил радостное: — Стёпка живой, гляди. Ну и слава Богу. И пошёл дальше. К ограде. Шаркая подшитыми валенками по снегу. Меня держало двое. Слева — отец, вцепившийся мне в локоть так, что после остались синяки. Справа — Настя, уткнувшаяся лицом мне в плечо, чтоб не видеть. А третьим, самым крепким, держало меня то, что я знал. Один наган за пазухой против пулемёта и полусотни конных — это не спасение деда Игната. Это два трупа взамен одного. Мой да его. А там, гляди, и Настин с отцовым в придачу. Я стоял. Я глядел в землю. Я считал свои вдохи, как считал их в логу, потому что больше держаться было не за что. К ограде вывели восьмерых. Северин поднялся снова. Обошёл стол. Встал перед выведенными — близко, в трёх шагах, заложив руки за спину. Снял очки. Протёр их платком — неспешно, аккуратно, глядя на стариков голыми, прищуренными без стёкол глазами. Надел снова. — Это не казнь, — сказал он негромко, и я понял: говорит он не старикам у ограды, а нам. Всей площади. — Это вычитание. История вычитает то, что мешает ей идти. Без злобы. По надобности. Он отступил вбок. Махнул рукой. Коротко. Буднично. Залп. Сухо. Вразной. Коротко. Снег у ограды. Дед Игнат — на колени. Потом боком. Тихо. И только потом, спустя миг, по майдану прошёл единый низкий звук — не крик, а стон, какой издаёт толпа, когда на её глазах делают то, чему она не может помешать. Настя дёрнулась всем телом. Отец прижал её к себе, ко мне, и мы стояли втроём, сомкнувшись, как стоят на ветру, и держали друг друга — чтоб не упасть и чтоб не кинуться, что было бы сейчас одно и то же. И тут во мне сорвалось — не в голове, голову я держал, а в руках. Я обнаружил, что стиснул Настино плечо так, что она ахнула, а пальцы не разжимались, не слушались, будто держался за неё не я, а кто-то другой во мне — чтоб не закричать. Это держался Степан. Это его крёстного сейчас положили в снег, и его горе, не спросясь меня, рвануло наружу через чужие, через мои руки. Я разжал пальцы. С трудом, по одному. Впервые с той ночи в логу я не сумел совладать с собственным телом — и впервые с той ночи понял, что тело это понемногу делается моим. Я заставил себя смотреть. До конца. Каждого. Не из доблести — а потому, что отвернуться значило бы соврать самому себе, будто этого нет. Это было. Восемь человек у белой церковной ограды, на синем снегу. И Северин, что натягивал перчатки, потому что у него замёрзли руки. * * * Отпустили нас, когда солнце поднялось над буграми и снег из синего сделался жёлто-розовым — безразличным, обыкновенным, таким, каким он бывает всякое мирное утро, и от этого равнодушия снега к тому, что на нём только что случилось, делалось ещё тяжелее. Северин уехал первым: сел в розвальни, укрылся полостью, и его увезли в правление — к теплу, к бумагам, к обеду. Тела от ограды убирать до полудня не дали: пусть, мол, постоят перед глазами, для науки. И они стояли — то есть лежали, — и станица расходилась по хуторам мимо них, медленно, без слов, унося это в себе, как уносят проглоченный, неподатливый камень, который теперь не выкашлять до самой смерти. За дедом Игнатом пришли свои — старуха его да две снохи. Я подошёл помочь. Поднял — он был лёгкий, высохший, как все древние старики, почти ничего не весивший, словно жизнь, уходя, унесла с собою и тяжесть; и подшитые его валенки, аккуратные, ровно подшитые, поволоклись по снегу, и вот эта аккуратность подшитых валенок добила меня вернее самого выстрела. Человек с утра обулся как следует, подшил с вечера валенки, чтоб ноги

были в тепле, собрался на майдан обстоятельно, как на всякое серьёзное дело, — а дело это оказалось его смертью. Я нёс его и молчал, и старуха рядом не голосила, не причитала в голос, как водится, а только повторяла без конца, шёпотом, одно слово: «Игнатушка, Игнатушка», — будто звала его домой, ужинать, а он всё не шёл. Мы уложили его в санки. Я укрыл ему лицо рядом. И вот тогда, выпрямившись над санками, я наконец позволил себе почувствовать то, что весь долгий день держал на запоре, — и это было не горе. Горе было Степаново; оно поднялось во мне вместе с чужой памятью и сидело комом в горле, и оно ещё возьмёт своё — ночью, без свидетелей. А поверх Степанова горя встало моё, и было оно холодное и ясное, без единой слезы: не жалость, а счёт. Я смотрел на санки, на подшитые валенки, на красное у церковной ограды — и не клялся ничему и никому, потому что громкие клятвы я в прежней жизни оставлял тем, кто красиво говорит, а сам привык не обещать, а делать. Я просто знал, твёрдо и спокойно, как знаешь назубок выученное ремесло: этого тихого человека в очках я найду. Не завтра. Не на майдане, под пулемётом, на виду у полусотни сабель. Но найду — в свой час, на своих условиях, когда условия буду ставить я. Кругом, по всему майдану, свои поднимали своих — молча, без воя и причети, как поднимают убитых на войне, когда на причеть нет ни времени, ни уже и слёз: кто на санки, кто на снятую с петель дверь, кто на рядно. И эта общая молчаливая работа связывала людей крепче всякого уговора и всякой присяги: те, кто вместе обряжает своих мёртвых под чужим пулемётом, делаются после друг другу родней вернее кровной. Я отметил и это — холодно, про запас, для того дела, что зрело во мне, — и тут же стало мне самому гадко, что я и тут, над мёртвыми, не могу перестать считать. — Едем, — сказал отец, тронув меня за рукав. Лицо у него было серое, неживое, как присыпанный пеплом уголь. — Будет. Нагляделся. Мы пошли домой за санками. Дорога стелилась по белому полю к нашим буграм, скрипел под полозьями снег, и Настя плакала наконец — тихо, без причитаний, как плачут, когда выплакать всё равно нельзя, а не плакать нету сил. Всю дорогу до поворота она держалась рукой за край санок — не чтоб помочь везти, санки и так шли легко по накату, а чтоб не отпускать деда Игната, куда можно. Я смотрел на её варежку на краю санок и понимал про эту девочку больше, чем понял бы из всякого разговора: что добра она той бестолковой, цепкой добротой, какая в нынешнее время дороже всякого ума, — и какую нынешнее время станет из неё выбивать день за днём. Беречь её было теперь моё дело. Больше некому. Отец долго молчал, потом сказал глухо, в воротник, не оборачиваясь: — Игнат меня старше был годов на десять. Это он меня, мальчика, плавать на Дону учил. — Он скрипел валенками по снегу. — А я его, гляди, в санках везу. Не по ряду оно, Степан. Не по ряду. Я не нашёл, что ответить, да он и не ждал: говорил не со мной — с Богом своим, с которым к этому утру накопился у него, видать, тяжёлый счёт. Я только переложил руку с края санок ему на плечо. Он не сбросил. Он вёл Настю под руку, а я шёл сзади, за санками, и думал — не о мести, мечь дело пустое, шумное и короткое, — а о том, о чём думал ещё ночью у печи: о силе. Нынче я увидел их силу целиком, всю, как на ладони: пулемёт, цепь, списки, Северина, что вычитает людей без злобы, по надобности. Этой силы наскоком не возьмёшь и наганом за пазухой не уравнишишь. Но я увидел сегодня и другое — то, чего, может, не разглядел сам Северин со своего дощатого возвышения. Я увидел эту толпу. Сотни людей, что стояли, и стонали в голос, и держали друг друга, и не кинулись — пока. Гнев на майдане стоял такой густой, что его, казалось, можно резать ножом и резать пластами. Северин думал, что вычитает. А он складывал. Каждым своим залпом, каждой протёртой перед расстрелом парой очков он складывал к нашей стороне ещё по десятку тех, кому уже нечего стало терять. Он копал не нашу могилу. Он копал свою — медленно, аккуратно, сам того не видя за стёклами круглых очков. Как из этой простой правды — что он копает себе, а не нам, — выкроить дело, я уже примерно представлял. Не лбом на пулемёт: на пулемёт лбом ходят от отчаяния, а отчаяние — советчик плохой и командир ещё худший. Малой войной. Той самой, какой я кормился всю прежнюю жизнь: щипать, а не рубить сплеча; брать не крепость, а зазевавшийся обоз; не героически ложиться на

майдане под общий вздох, а тихо, по ночам, убавлять у них то, чем они сильны, — оружие, сон, покой, веру в свою безнаказанность. У страха, что Северин так ровно, по-хозяйски сеял, была изнанка, и я знал её по обоим своим жизням: кто привык, что его боятся, тот плохо готов к дню, когда заботятся его самого. Страх — оружие обоюдоострое, и держат его за лезвие чаще, чем думают. Беда была в одном: одному эту войну не вытянуть. Нынешней ночью я мог сделать малое — и сделаю; но за малым нужны были люди, ядро, те, кто пойдёт не от отчаяния, а с головой. Их ещё предстояло найти, проверить, связать в одно. А покуда у меня была одна ночь да один наган — и с этого следовало начинать, потому что ждать, когда сама собою соберётся сила, можно до собственного номера в списке. Кое-кто на примете уже был. Гаврила, дружок с малых лет, отчаянный и верный, у которого нынче по списку прочли и двор, и брата, — этот пойдёт, такого не уговаривать надо, а придерживать. Дед Архип, старый пластун, что молчунном доживает на отшибе, — этот, коли поверит, один десятка стоит. Найдутся и другие. Гнев есть у всех, я его нынче на майдане в каждом лице видел; надо только, чтоб сыскался тот, кто скажет им не «терпи», а «делай», и покажет — что именно делать. Вот этим тем мне и предстояло стать. Не мстителем — мстителей в логу и кладут первыми. Командиром. Начну нынче же. С того, что по силам мне одному. Не затем, чтоб отбить деда Игната у мёрзлой земли, — мёртвых не отбивают. А затем, чтоб станица наутро узнала, а красные почуяли простую вещь: вычитать нас можно, да не до конца. Кое-что и мы считать умеем. И счёт по этой зиме открыт теперь с обеих сторон.

На майдан станицу согнали к рассвету, когда снег ещё лежал синий, до-утренний, и общее дыхание толпы стояло над ней одним белым облаком, что не таяло в неподвижном морозном воздухе. Гнали со всех окрестных хуторов разом — пешими, по разбитому шляху, под конвоем конных; кто отставал, того подгоняли прикладом в спину, без злобы, буднично, как подгоняют скотину на базар, и эта будничность была страшнее всякой свирепости. Мы шли втроём: я, отец и Настя. Я держал сестру под руку — не затем, чтоб поддержать на скользкой дороге, а затем, чтоб всё время знать, где она, чтоб чувствовать её рядом, если вдруг придётся хватать и тащить. Майдан станицы Вёшенской я узнал прежде, чем вышел на него, — узнал чужой памятью: вот она, белая Никольская церковь с зелёным куполом, вот торговые ряды, вот станичное правление с резным крыльцом. Только память показывала это место иным — людным, праздничным, в возах и гомоне, в перезвоне к обедне, — а глаза мои увидели площадь, сжатую в кулак. По краям её, разомкнувшись в цепь, стояли конные. У церковной ограды, на дощатом возвышении, чернел пулемёт, и при нём грелись над сигарками двое, скучая, как скучают люди на привычной, надоевшей уже работе. Перед правлением вынесли стол, накрытый красным кумачом, и этот кумач был единственным ярким пятном на всём сером, стылом, притихшем майдане — пятном, на которое больно было смотреть, как больно смотреть на кровь по снегу. За столом сидел человек. Я выделил его сразу — так, как выделяешь в чужом строю старшего: не по знакам различия, особых знаков на нём не было, а по тому, как держались вокруг него все прочие. В кожаной тужурке, в круглых очках, чисто, до синевы выбритый, он сидел очень прямо и почти неподвижно; перед ним лежала стопка бумаг, и он не кричал, не суетился, не озирался — он просто был тем средоточием, к которому стягивалось всё на этой площади, как стягиваются железные опилки к спрятанному под бумагой магниту. — Сам приехал, — выдохнул кто-то за моей спиной, тихо, одними губами, и в этом шёпоте был не страх даже, а оторопь. — Северин. Из округа. Имя легло в меня и осталось. Я не обернулся на сказавшего — я смотрел на стол и запоминал, потому что запоминать было единственным, что я мог сейчас делать с пользой. Пулемёт у ограды крыл сектором весь майдан: мёртвых зон почти нет, разве у самого правления, под стеной. Конных за полсотни — часть в цепи, часть в резерве, у крыльца. Пешие при винтовках рассыпаны меж рядов толпы, ленивые, но трезвые: Северин, видать, пьяных при себе не держал. Сам он сидел так, что за спиной у него была глухая стена правления, а перед ним — вся площадь как на ладони; ни подойти к нему незаметно, ни зайти со спины.

Человек, который заранее думал, откуда к нему может прийти беда, и заранее закрывал эти двери. Таких я и в прежней жизни встречал нечасто, а встретив — не торопился. — Тихо стой, — шепнул отец, не разжимая губ, глядя прямо перед собой, в спины передних. — В землю гляди. Тебя тут многие в лицо знают. Я опустил глаза и стал ждать вместе со всей площадью — ждать того, чего ещё толком не знали, но уже чуяли нутром, как чует скотина грозу задолго до первой зарницы. Я стоял в гуще чужих и не чужих лиц — память то и дело выхватывала из толпы знакомое: вон Степанов одногодок, с которым ходили когда-то на маёвки; вон старуха, что отпаивала Степана травами в детстве; вон через три головы соседи, кумовья, полстаницы родни, седьмая вода на киселе, какая бывает только в старых казачьих юртах, где все за сто лет перероднились между собою. И всех этих людей, знакомых мне взаимно, чужой памятью, сейчас держали на холоде, тесно, как держат гурт перед клеймением, и над ними висело то самое предчувствие, от которого у скотины западают бока, а у людей деревенеют лица. Я глядел на эти лица и поверх Степановой к ним приязни вёл свой холодный счёт: сколько тут мужиков годных, сколько стариков, сколько баб; кто согнут страхом насовсем, а у кого под страхом ещё ходят желваки; и выходило по тому счёту, что согнуть-то их согнули, а сломать ещё не сломали, и в этом несломленном, тлеющем под пеплом был для меня единственный на всём майдане проблеск того, что можно было назвать надеждой. А мороз меж тем делал своё нехитрое дело: пробирал сквозь чекмени и зипуны, выстуживал ноги, и люди потихоньку, незаметно для самих себя, начинали переминаясь, жаться друг к другу теснее, и вся толпа жила оттого медленным общим бессознательным движением, как живёт остывающее стадо. И в этом был расчёт — я понял его не сразу, а поняв, похолодел не от мороза: их подняли затемно и держали на стуже, голодных, не спавших, нарочно, чтобы к тому часу, когда комиссар развернёт свои бумаги, перед ним стояла бы уже не станица со своим гонором и своим Кругом, а просто триста озябших, насмерть напуганных людей, готовых на всё, лишь бы поскорее по домам, к теплу. Холод и страх делали половину работы за него. Вторую половину он собирался сделать сам — бумагой да пулей. А надо всем этим стояла Никольская — белая, с зелёным куполом, спокойная, как стоит церковь над всяким людским горем третью сотню лет. Колокол на ней молчал. К обедне не звонили — то ли запретили, то ли некому стало; и это молчание колокола над майданом, полным народом, было таким неправильным, так против всего здешнего обихода, что от него одного делалось жутко. А я знал ещё и то, чего не знала, замерев, толпа: что там, под этой самой белой церковью, в холодном её подвале, сидят сейчас Дарьин Прохор и с ним десятки других и слушают снизу, сквозь толщу камня и мёрзлой земли, как над их головами ходят по церкви чужие сапоги. Церковь стояла над живыми, запёртыми внизу, и над мёртвыми, что лягут сейчас наверху, и молчала, и в молчании её не было ни защиты, ни укора — одно лишь терпение камня. Северин поднялся. И едва он встал, говор по майдану опал сам собой, будто прижали ладонью. Он не возвышал голоса — напротив, заговорил негромко и ровно, так, что задним рядам пришлось вытягивать шеи и задерживать дыхание, чтоб расслышать; и в этой нарочитой негромкости было больше власти, чем во всяком крике, потому что кричит тот, кто боится, что его не послушают, а тихо говорит тот, кто знает, что послушают непременно. — Граждане казаки. — Он чуть помедлил на слове «граждане», словно пробуя его на этой площади, где сроду не водилось никаких граждан, а были станичники, хуторяне, односумы. — Советская власть не воюет с трудовым казачеством. Власть карает врага — то есть тех, кто с оружием в руках или с тайной злобой в сердце стоит поперёк дороги трудовому народу. Нынче мы установим, кто здесь кто. Это недолго. Он говорил «это недолго» так, как говорит лекарь перед тем, как рвать зуб, — и в этом будничном обещании краткости было самое страшное: для него и впрямь было недолго. Привычно. Не первая станица и не последняя. Я слушал его ровный, без единой зазубрины голос и понимал, что ненависти к нам в нём, пожалуй, и нет вовсе, — а есть холодная убеждённость человека, который точно знает, как надо, и делает, как надо. И оттого он был опаснее всякого, кто лютует со зла: злого можно вывести из терпения, подловить на

ялости, на похмелье; а этого — нечем. Машина не пьёт, не выходит из себя, не делает глупостей сгоряча. Машину можно только сломать. Он сел и придвинул бумаги. И начал читать. * * * Список он читал ровным голосом, без выражения. Как читают накладную. — Поляковы, двор семнадцатый. Глава — вахмистр старой службы. Двое пеших нырнули в толпу. Выдернули. Повели к ограде. Никто не упирался. Упираться было некому и нечем. — Каргин Пантелей. Урядник. Два Георгия. Снова нырок. Снова за ограду. Старик шёл сам, прямо, не оглядываясь. — Лиховидовы, двор девятый. Сын — у белых. Толпа колыхнулась. Бабий вскрик — и осёкся. — Грачёв Кузьма. Сын в отступе с белыми. Нырок. За ограду. — Дударев Гордей. Хорунжий. Старик с палкой. Пошёл сам, не оглянулся. Список не спешил. Список был терпелив. Палец вёл по строчкам, голос называл, пешие ныряли в толпу и выдёргивали, и снег у ограды наполнялся стоящими. Кого не к ограде — тех в особый ряд, под конвой: семьи беглых, родню, баб. Этих в подвал, в заложники. Как Дарьиного Прохора. Я считал. Не имена — выводы. Берут фронтовиков. Берут урядников, хорунжих. Берут тех, у кого сын или брат у белых. Метут по чину и по крови. По этому счёту я шёл первым номером: и урядник, и Георгий, и в логу уже отлежал. А меня не назвали. Покуда. Хутора, видать, чли отдельным списком. Наш черёд впереди. Я стоял в строю и слушал, как читают людей. Не имена — людей. Каждое имя на миг делалось человеком: вот он отделяется от толпы, вот идёт по снегу, вот встаёт у белой стены. И гаснет. Список не спешил. Список был терпелив. Тихий человек за столом перелистывал страницу, вёл пальцем, называл — и пешие ныряли, и выдёргивали, и вели. — Чумаков Игнат, сват Беркутовых. Я не сразу понял, что названо имя, которое меня касается. А когда понял — было поздно. Чужая память дёрнулась во мне прежде, чем я успел её удержать. Я узнал старика, что зашаркал из соседнего ряда к ограде. Узнал, как узнают родного. Дед Игнат. Степанов крёстный. Сосед. Тот, что сажал мальчишку Степана на колени и звал не иначе как «Стёпка-внучок». Память ударила одним, разом: тяжёлой, в коричневых пятнах рукой у себя на мальчишеской макушке — его рукой. И тот же голос я услышал теперь наяву. Проходя мимо нашего ряда, дед Игнат поднял голову, нашёл меня глазами и сказал — не испуганно, а удивлённо, будто только сейчас, на пути к смерти, заметил радостное: — Стёпка живой, гляди. Ну и слава Богу. И пошёл дальше. К ограде. Шаркая подшитыми валенками по снегу. Меня держало двое. Слева — отец, вцепившийся мне в локоть так, что после остались синяки. Справа — Настя, уткнувшаяся лицом мне в плечо, чтоб не видеть. А третьим, самым крепким, держало меня то, что я знал. Один наган за пазухой против пулемёта и полусотни конных — это не спасение деда Игната. Это два трупа взамен одного. Мой да его. А там, гляди, и Настин с отцовым в придачу. Я стоял. Я глядел в землю. Я считал свои вдохи, как считал их в логу, потому что больше держаться было не за что. К ограде вывели восьмерых. Северин поднялся снова. Обошёл стол. Встал перед выведенными — близко, в трёх шагах, заложив руки за спину. Снял очки. Протёр их платком — неспешно, аккуратно, глядя на стариков голыми, прищуренными без стёкол глазами. Надел снова. — Это не казнь, — сказал он негромко, и я понял: говорит он не старикам у ограды, а нам. Всей площади. — Это вычитание. История вычитает то, что мешает ей идти. Без злобы. По надобности. Он отступил вбок. Махнул рукой. Коротко. Буднично. Залп. Сухо. Вразнобой. Коротко. Снег у ограды. Дед Игнат — на колени. Потом боком. Тихо. И только потом, спустя миг, по майдану прошёл единый низкий звук — не крик, а стон, какой издаёт толпа, когда на её глазах делают то, чему она не может помешать. Настя дёрнулась всем телом. Отец прижал её к себе, ко мне, и мы стояли втроем, сомкнувшись, как стоят на ветру, и держали друг друга — чтоб не упасть и чтоб не кинуться, что было бы сейчас одно и то же. И тут во мне сорвалось — не в голове, голову я держал, а в руках. Я обнаружил, что стиснул Настино плечо так, что она ахнула, а пальцы не разжимались, не слушались, будто держался за неё не я, а кто-то другой во мне — чтоб не закричать. Это держался Степан. Это его крёстного сейчас положили в снег, и его горе, не спрося меня, рвануло наружу через чужие, через мои руки. Я разжал пальцы. С трудом, по одному. Впервые с той ночи в логу я не сумел совладать с собственным телом —

и впервые с той ночи понял, что тело это понемногу делается моим. Я заставил себя смотреть. До конца. Каждого. Не из доблести — а потому, что отвернуться значило бы соврать самому себе, будто этого нет. Это было. Восемь человек у белой церковной ограды, на синем снегу. И Северин, что натягивал перчатки, потому что у него замёрзли руки. * * * Отпустили нас, когда солнце поднялось над буграми и снег из синего сделался жёлто-розовым — безразличным, обыкновенным, таким, каким он бывает всякое мирное утро, и от этого равнодушия снега к тому, что на нём только что случилось, делалось ещё тяжелее. Северин уехал первым: сел в розвальни, укрылся полостью, и его увезли в правление — к теплу, к бумагам, к обеду. Тела от ограды убирать до полудня не дали: пусть, мол, постоят перед глазами, для науки. И они стояли — то есть лежали, — и станица расходилась по хуторам мимо них, медленно, без слов, унося это в себе, как уносят проглоченный, неподатливый камень, который теперь не выкашлять до самой смерти. За дедом Игнатом пришли свои — старуха его да две снохи. Я подошёл помочь. Поднял — он был лёгкий, высохший, как все древние старики, почти ничего не весивший, словно жизнь, уходя, унесла с собою и тяжесть; и подшитые его валенки, аккуратные, ровно подшитые, поволоклись по снегу, и вот эта аккуратность подшитых валенок добила меня вернее самого выстрела. Человек с утра обулся как следует, подшил с вечера валенки, чтоб ноги были в тепле, собрался на майдан обстоятельно, как на всякое серьёзное дело, — а дело это оказалось его смертью. Я нёс его и молчал, и старуха рядом не голосила, не причитала в голос, как водится, а только повторяла без конца, шёпотом, одно слово: «Игнатушка, Игнатушка», — будто звала его домой, ужинать, а он всё не шёл. Мы уложили его в санки. Я укрыл ему лицо рядом. И вот тогда, выпрямившись над санками, я наконец позволил себе почувствовать то, что весь долгий день держал на запоре, — и это было не горе. Горе было Степаново; оно поднялось во мне вместе с чужой памятью и сидело комом в горле, и оно ещё возьмёт своё — ночью, без свидетелей. А поверх Степанова горя встало моё, и было оно холодное и ясное, без единой слезы: не жалость, а счёт. Я смотрел на санки, на подшитые валенки, на красное у церковной ограды — и не клялся ничему и никому, потому что громкие клятвы я в прежней жизни оставлял тем, кто красиво говорит, а сам привык не обещать, а делать. Я просто знал, твёрдо и спокойно, как знаешь назубок выученное ремесло: этого тихого человека в очках я найду. Не завтра. Не на майдане, под пулемётом, на виду у полусотни сабель. Но найду — в свой час, на своих условиях, когда условия буду ставить я. Кругом, по всему майдану, свои поднимали своих — молча, без воя и причети, как поднимают убитых на войне, когда на причеть нет ни времени, ни уже и слёз: кто на санки, кто на снятую с петель дверь, кто на рядом. И эта общая молчаливая работа связывала людей крепче всякого уговора и всякой присяги: те, кто вместе обряжает своих мёртвых под чужим пулемётом, делаются после друг другу родней вернее кровной. Я отметил и это — холодно, про запас, для того дела, что зрело во мне, — и тут же стало мне самому гадко, что я и тут, над мёртвыми, не могу перестать считать. — Едем, — сказал отец, тронув меня за рукав. Лицо у него было серое, неживое, как присыпанный пеплом уголь. — Будет. Нагляделся. Мы пошли домой за санками. Дорога стелилась по белому полю к нашим буграм, скрипел под полозьями снег, и Настя плакала наконец — тихо, без причитаний, как плачут, когда выплакать всё равно нельзя, а не плакать нету сил. Всю дорогу до поворота она держалась рукой за край санок — не чтоб помочь везти, санки и так шли легко по накату, а чтоб не отпускать деда Игната, покуда можно. Я смотрел на её варежку на краю санок и понимал про эту девочку больше, чем понял бы из всякого разговора: что добра она той бестолковой, цепкой добротой, какая в нынешнее время дороже всякого ума, — и какую нынешнее время станет из неё выбивать день за днём. Беречь её было теперь моё дело. Больше некому. Отец долго молчал, потом сказал глухо, в воротник, не оборачиваясь: — Игнат меня старше был годов на десять. Это он меня, мальчика, плавать на Дону учил. — Он скрипел валенками по снегу. — А я его, гляди, в санках везу. Не по ряду оно, Степан. Не по ряду. Я не нашёл, что ответить, да он и не ждал: говорил не со мной — с Богом своим, с которым к этому утру

накопился у него, видать, тяжёлый счёт. Я только переложил руку с края санок ему на плечо. Он не сбросил. Он вёл Настю под руку, а я шёл сзади, за санками, и думал — не о мести, мечь дело пустое, шумное и короткое, — а о том, о чём думал ещё ночью у печи: о силе. Нынче я увидел их силу целиком, всю, как на ладони: пулемёт, цепь, списки, Северина, что вычитает людей без злобы, по надобности. Этой силы наскоком не возьмёшь и наганом за пазухой не уравнишишь. Но я увидел сегодня и другое — то, чего, может, не разглядел сам Северин со своего дощатого возвышения. Я увидел эту толпу. Сотни людей, что стояли, и стонали в голос, и держали друг друга, и не кинулись — пока. Гнев на майдане стоял такой густой, что его, казалось, можно резать ножом и резать пластами. Северин думал, что вычитает. А он складывал. Каждым своим залпом, каждой протёртой перед расстрелом парой очков он складывал к нашей стороне ещё по десятку тех, кому уже нечего стало терять. Он копал не нашу могилу. Он копал свою — медленно, аккуратно, сам того не видя за стёклами круглых очков. Как из этой простой правды — что он копает себе, а не нам, — выкроить дело, я уже примерно представлял. Не лбом на пулемёт: на пулемёт лбом ходят от отчаяния, а отчаяние — советчик плохой и командир ещё худший. Малой войной. Той самой, какой я кормился всю прежнюю жизнь: щипать, а не рубить сплеча; брать не крепость, а зазевавшийся обоз; не геройски ложиться на майдане под общий вздох, а тихо, по ночам, убавлять у них то, чем они сильны, — оружие, сон, покой, веру в свою безнаказанность. У страха, что Северин так ровно, по-хозяйски сеял, была изнанка, и я знал её по обоим своим жизням: кто привык, что его бояться, тот плохо готов к дню, когда заботятся его самого. Страх — оружие обоюдоострое, и держат его за лезвие чаще, чем думают. Беда была в одном: одному эту войну не вытянуть. Нынешней ночью я мог сделать малое — и сделаю; но за малым нужны были люди, ядро, те, кто пойдёт не от отчаяния, а с головой. Их ещё предстояло найти, проверить, связать в одно. А покуда у меня была одна ночь да один наган — и с этого следовало начинать, потому что ждать, когда сама собою соберётся сила, можно до собственного номера в списке. Кое-кто на примете уже был. Гаврила, дружок с малых лет, отчаянный и верный, у которого нынче по списку прочли и двор, и брата, — этот пойдёт, такого не уговаривать надо, а придерживать. Дед Архип, старый пластун, что молчком доживает на отшибе, — этот, коли поверит, один десятка стоит. Найдутся и другие. Гнев есть у всех, я его нынче на майдане в каждом лице видел; надо только, чтоб сыскался тот, кто скажет им не «терпи», а «делай», и покажет — что именно делать. Вот этим тем мне и предстояло стать. Не мстителем — мстителей в логу и кладут первыми. Командиром. Начну нынче же. С того, что по силам мне одному. Не затем, чтоб отбить деда Игната у мёрзлой земли, — мёртвых не отбивают. А затем, чтоб станица наутро узнала, а красные почуяли простую вещь: вычитать нас можно, да не до конца. Кое-что и мы считать умеем. И счёт по этой зиме открыт теперь с обеих сторон.

Глава 4

Дедову шашку я достал из стрехи, когда хутор уже спал второй своей мёртвой ночью кряду. Она лежала там, где сказал отец, — завёрнутая в промасленную холстину, под самой застрехой, куда не достанет ни сырость, ни чужой глаз; и когда я размотал холстину и взял её в руку, рука опять, в который уже раз, сделала всё прежде меня — сама нашла верный хват, сама на полвершка вынула клинок из ножен, проверяя, не прихватило ли его ржой, сама вернула обратно с тем коротким сухим звуком, по которому старый рубака на слух узнаёт хорошо пригнанную сталь. Луна стояла молодая, тонкая, света от неё было всего ничего, но мне больше и не надо было: я и в полной темноте знал теперь, что эта шашка — добрая, и что Пётр держал её в руках, и что теперь черёд мой.

Наган я сунул за пояс, под полушубок, а шашку приладил так, чтоб не звякнула и не цеплялась, — и вышел со двора не воротами, а через прясло, задами, по-за гумнами, как уходят, когда не хотят, чтоб видели даже свои. Ночь была ясная и стылая, снег под ногами не скрипел — крепкий, слежавшийся, он держал шаг беззвучно, и это было хорошо. Я шёл и привыкал к темноте, к расстояниям, к тому, как ложатся тени от плетней, и помаленьку из меня уходил Степан, а оставался тот, прежний, кому эта работа — ночь, снег, чужой пост впереди — была знакома и привычна, как сапожнику колодка.

Странная это была лёгкость. Тело шло сквозь ночь так, будто всю жизнь только и делало, что ходило крадучись, — и отчасти так оно и было: казак сызмальства приучен к ночной степи, к секрету, к тому, чтоб затаиться и слиться с землёй, и эта наука сидела в Степановых мышцах глубоко, рядом с той, фронтовой. А поверх неё легла моя — другая, поздняя, выученная в иных ночах и на иных полях, но в главном та же самая, потому что ремесло подбираться к врагу в темноте за сто лет переменялось куда меньше, чем переменялось всё прочее на свете. Где старый пластун полагался на нюх да на наследную, с молоком впитанную сноровку, я добавлял расчёт: углы, тени, ветер, время, привычки часового. Две школы, старая и новая, сошлись в одном теле и впервые за эти дни не спорили, кому верить, а делали общее дело, — и от этого нежданного согласия мне стало почти спокойно, как давно уже не было.

Ветер тянул вдоль балки в лицо — это я подгадал нарочно: к посту подходят так, чтоб ветер шёл от него к тебе, а не от тебя к нему, иначе чужие кони учуют, беспокоятся, заржут, выдадут. Мелочь, которой не знает зелёный и за которую зелёный платит головой. Таких мелочей я знал много, ими и держался всю прежнюю жизнь, ими, видно, продержусь и эту. Снег под валенками молчал. Звёзды кололи остро, по-морозному, и от этого холода всё делалось чётким, ясным, простым. Где-то далеко, в станице, лениво взлаяла собака и смолкла. Я шёл, считал шаги, считал минуты и складывал в голове, как складывают перед всяким делом, простую и ясную картину того, что сейчас сделаю и в каком порядке: подойти низом, со стороны навеса; взять, сколько унесу; уйти не тем путём, каким пришёл.

Идти было недалеко. Ещё засветло, помогая возить со двора деда Игната, я заметил то, что мне было нужно, и весь день, поверх горя, держал это в уме, как держат на ладони камень, прикидывая, добросишь ли. На краю соседнего хутора, у Лещёва брода, красные поставили малый пост — не от большого ума, а от лени: им так было сподручнее свозить отобранное по дворам в одно место, чтоб назавтра разом отправить в станицу. Свозили туда оружие, отбираемое у казаков, — винтовки, шашки, что найдут; туда же гнали и кое-какую скотину. Я видел днём, мельком, проездом: занятый красными двор, возы под навесом, караул. Видел и считал.

Теперь надо было поглядеть вблизи и в темноте — а это совсем другой коленкор, чем глядеть днём проездом.

Я лёг на гребень балки, не доходя дворов с полверсты, и долго лежал не шевелясь, остывая, сливаясь с землёй и снегом, давая глазу обвыкнуться и собрать картинку. Картинка соби-

ралась медленно и выходила утешительная. Двор крайний, на отшибе, плетень местами повален. Под навесом — два воза, накрытые рядом; на одном, я знал, оружие. В курене светилось окошко: там грелись, там сидели те, кому полагалось бы сторожить, да кому неохота было лезть на мороз. А на морозе, у ворот, торчал один-единственный часовой — топтался, хлопал рукавицами, поминутно поворачивался спиной к ветру, и винтовка висела у него за спиной, на ремне, потому что держать её в руках на таком холоде — мука, а начальство далеко, в станице, и бояться некого.

Я лежал и разбираю двор по косточкам, как разбирают всякую позицию перед делом. Собаки нет — либо пристрелили, либо угнали; это хорошо. Кони под дальним навесом, шесть или семь, дремлют — к коням я не пойду, кони чутки, кони выдадут. Подойти незаметно можно со стороны поваленного плетня, за возами, в мёртвой полосе, куда не достаёт свет из окна и где часовому меня не видать. Уйти, если поднимется тревога, — той же балкой, низом, к Дону, а там по льду на свой берег. Времени у меня — столько, сколько часовой проторчит у ворот, не заглядывая за навес; а заглянет он туда, по всему видать, не скоро: на таком холоде человек жмётся к одному месту, ленится, считает минуты до смены, а не ходит вокруг дозором.

А пока я просто лежал и ждал, и это стылое, неподвижное ожидание на грани окоченения было самой трудной частью дела — труднее самого дела. Мороз заползал под полушубок, сводил пальцы, и я по одному отогревал их за пазухой, шевелил в валенках, незаметно, чтоб не заоченели вовсе: заоченевшими руками часового не снимешь. Я ждал и смотрел, как он в третий раз обходит свой пяточок, как закидывает голову, прихлёбывая что-то из манерки, — и по тому, как он встряхнул её, понял, что согревается он не одним кипятком. Пьяненький часовой — половина удачи. Я отмерил себе на всё про всё четверть часа и решил уложиться вдвое скорее.

Бояться некого. Я лежал, смотрел на этого озябшего, переминающегося с ноги на ногу парня и думал ровно ту мысль, ради которой и пришёл: им тут некого бояться, и в этом вся их слабость. Страх ходит в обе стороны — да только они про это ещё не знают. Нынче узнают.

* * *

Я обошёл двор низом, балкой, и подобрался со стороны навеса — оттуда, где плетень повален и где часовому меня было не видать за возами.

Снег держал шаг. Я не торопился. В таком деле торопливость — первый враг, она дороже всего обходится, и я знал это так твёрдо, что знание это въелось в самое тело, в то, как оно двигалось: ни одного лишнего движения, ни одного звука. Перевалил через поваленный плетень. Замер. Послушал. В курене негромко гомонили, кто-то засмеялся. Часовой у ворот кашлянул, сплюнул. Я переждал и пошёл дальше, от тени к тени, к возам.

У возов я снова замер. Послушал. Сердце шло ровно: я держал его теперь в узде, как обещал ему ещё в логу, и оно слушалось. Дышал я через раз, неглубоко, ртом, чтоб пар не вырывался облаком и не выдал. Рядно на возу заиндеVELO, заскорузло на морозе, и отворачивать его надо было по краешку, по верхушку, медленно, потому что мёрзлая холстина хрустит громче выстрела, если рвануть. Я отворачивал. Под рядом, в лунном полусвете, тускло отблёскивал металл.

Винтовки. Чужие, отнятые — у соседей, у таких же казаков, что лежат теперь по логам да под церковной оградой. Я глядел на них и впервые за ночь почувствовал не холодную ясность дела, а что-то тёплое и злое: я брал своё. Не воровал — возвращал. То, что отняли у Поляковых, у Дударева, у деда Игната, я забирал назад, чтоб оно ещё послужило тем, у кого его отняли. В этом была не корысть и не лихость — в этом была справедливость, простая, как нож, и от сознания этой справедливости рука стала твёрже.

Брал по одной. Каждую — двумя руками, прижимая к телу, без стука. Подсумки — следом, связкой, перекинул через плечо. Считал: одна, две, три. Тяжело. Хватит. Жадничать

нельзя — жадность в таком деле родная сестра торопливости, а обе они служат не мне, а смерти. Я поправил груз, чтоб не звякнул, и уже повернулся уходить.

И тут часовой пошёл к навесу.

Не ко мне — по нужде, должно, или озяб и решил укрыться от ветра за возами, перекурить. Но шёл прямо на меня, и шагов через десять должен был увидеть. Уйти я не успевал — за спиной открытое, лунное. Затаиться — увидит. Оставалось одно, то самое, ради чего рука с вечера примерялась к ножу.

Я не дал себе подумать. Думать тут поздно — кто в такой миг думает, тот мёртв.

Шаг ему навстречу, из тени.

Левой — за лицо, чтоб не крикнул.

Правой — коротко, снизу, под рёбра, как учили.

Он не крикнул. Только выдохнул — горячо, мне в ладонь — и обмяк, и стал тяжёлый, и я опустил его в снег, тихо, придерживая, чтоб не стукнул винтовкой. Всё.

Тихо.

Луна. Снег. Двое нас — стоячий да лежачий.

И тут руки мои — Степановы, молодые, не привычные к такому — затряслись. Мелко, противно, сами собой. Не от страха: страх ушёл ещё до дела, как ему и положено у обученного. Затряслись оттого, отчего трясутся они у всякого, кто впервые убил вот так — в упор, ножом, в тишине, чувствуя ладонью чужой последний выдох. В прошлой своей жизни я прошёл через это давно и знал, что это проходит. А вот это тело проходило через такое впервые, оно не знало, что пройдёт, и потому колотило его крупной дрожью. Я зажал руки под мышками, стиснул зубы, переждал. Тело привыкнет. Я его заставлю. Да только привыкать к этакому — само по себе плата, и платить её придётся всю жизнь, какая ни выпадет.

Я постоял над ним один удар сердца, не дольше. Молодой. Моложе Степанова тела. Конопатый, с белёсыми бровями, мужицкий сын, не казак, из тех, кого погнали сюда за чужую правду и чужую сволочь, и который замёрз тут, у Лещёва брода, сторожа отнятые у соседей винтовки, и не успел даже понять, что замёрз в последний раз. Я не почувствовал ни торжества, ни особой жалости — на это в такую минуту нет ни сил, ни права; почувствовал я другое, привычное, старое: тяжесть. Ту самую тяжесть, что ложится на всякого, кто делает это не в горячке боя, а вот так, в упор, руками, в тишине. Я знал эту тяжесть по прошлой жизни и знал, что от неё не отделаешься и что носить её придётся. Что ж. Понесу и эту. Не он первый, и, видно, не последний.

Уходить надо было быстро. Мёртвый часовой — что бомба с подожжённым фитилём: пока не хватились, я невидим; хватятся — и всё переменится в один миг. Я оттащил его за возы, в тень, чтоб со двора не сразу заметили пустые ворота. Подобрал его винтовку — четвёртая. Поправил груз. И в этот самый миг дверь куреня скрипнула.

Я замер.

В жёлтом проёме встал чёрный силуэт. Кто-то вышел — то ли часового сменить, то ли по той же нужде. Постоял на пороге. Зевнул, потянулся.

— Митряй! — позвал он негромко, в темноту, туда, где полагалось топтаться его товарищу. — Митряй, живой там? Замёрз, поди.

Я не дышал. Рука сама легла на рукоять нагана — не вынимать, выстрел тут всё погубит, — а так, для верности. Десять шагов между нами. Темно. Снег. Пойдёт к воротам — наткнётся на пустое место, поднимет крик; и тогда бег к балке, стрельба вслепую вдогон, удача пополам со смертью.

— Митряй, чёрт!

Тишина ему в ответ.

Он постоял ещё. Поёжился. Выругался лениво, без тревоги — решил, видать, что Митряй отошёл до ветру, — махнул рукой и убрался в тепло. Дверь стукнула. Жёлтый проём погас.

Я выдохнул. Медленно, через раз. Сердце колотилось, но руки были тверды: страх, как и положено у обученного человека, ушёл в ноги, не в руки. Я поправил связки и пошёл прочь — балкой, низом, не оглядываясь и не спеша, потому что спешка на отходе так же глупа, как на подходе. Митряя они хватятся не скоро. А хватятся — меня тут уже не будет.

* * *

Назад я шёл другой дорогой, кружной, замечая след, и вышел к своим буграм, когда небо на востоке только-только начало сереть.

Груз оттягивал плечо — четыре винтовки, патроны, — и груз этот был сладок, как бывает сладок первый улов после долгого невезенья. Я отнёс всё в условленное место, какое присмотрел загодя, — в старую, заброшенную ещё с осени волчью яму на отшибе, прикрытую хворостом, — и уложил там, обернув от сырости. Не домой же тащить: дома обыск, дома отец и Настя, которым за это оружие — лог. Пусть полежит тут, в земле, дожидаясь рук, которые его возьмут. Своих рук у меня было всего две. А винтовок теперь — четыре. Нехитрая арифметика подсказывала, что не хватает мне не оружия. Не хватает людей.

Эта мысль пришла не вдруг — она зрела во мне с самого майдана, с подшитых валенок деда Игната, а нынешней ночью только дозрела и упала своим весом, как падает спелое. Всю прежнюю жизнь я работал не один. У меня была группа — люди, которых я знал лучше родни, которым доверял спину не оглядываясь, и которые так же доверяли мне свою; мы были друг для друга и руками, и глазами, и совестью, и каждый стоил десятерых ровно потому, что был не один. В одиночку я тоже умел немало — иначе не дожил бы до своей смерти в той, другой жизни. Но в одиночку и самый ловкий упирается в простой, как стена, потолок: две руки, один наган, одна голова. И стоит этой голове разок ошибиться, как некому ни подменить, ни вынести, ни сказать тебе вовремя, что ты дурак, покуда дурость не стоила головы.

Нынче мне повезло. Часовой вышел один, ленивый, замёрзший, не ждущий беды. А выйди их двое, и стань второй чуть иначе, чуть подальше, — и лежал бы сейчас в снегу у Лещёва брода не он, а я; и винтовки остались бы под рядом; и вся моя хваленая ловкость не стоила бы ломаного гроша. Везенье — не метода. На везенье воюют только те, кому недолго осталось, и я это знал твёрдо, потому что насмотрелся в прежней жизни, как хоронят тех, кто перепутал везенье с умением. Мне нельзя было перепутать. За мной теперь стоял не я один — за мной, хоть они того ещё и не знали, стояли отец, Настя, Дарья с её Прохором, вся станица, которой я ночью, сам того не спросясь, взялся помогать.

И вот тут, присыпая яму хворостом, я в полной мере понял то, что смутно чуял ещё с майдана. Нынешней ночью я сделал дело — чистое, ловкое, по всем правилам моего ремесла. Снял часового, увёл оружие, ушёл незамеченным. Наутро красные у Лещёва брода хватятся, забегают, осерчают, станут искать — и не найдут. И что с того? Четыре винтовки в волчьей яме — это ещё не сила. Это укол булавкой в слона. Слон почешется и пойдёт дальше, давить.

Хуже того — я знал, чем такие уколы оборачиваются, когда колет одиночка. Я видел это в прежней жизни не раз: партизан-одиночка щиплет врага, а враг, не умея достать неуловимого, вымещает злобу на тех, до кого дотянуться легко, — на станице, на хуторе, на бабах и стариках. За одного озябшего часового у брода Северин спишет завтра вдесятеро, и спишет не с меня, а с тех, кто под рукой. Я нынче не просто увёл винтовки. Я нынче, может статься, подписал кому-то приговор.

И ещё одно лежало во мне той ночью, отдельным, неудобным камнем, — конопатый часовой. Я не каялся: на войне, какую мне теперь предстояло вести, не кающихся берут, а тех, кто умеет делать дело и нести его потом в себе, не сваливая ни на кого. Но и забыть его, сделать вид, что это было привычно и пусто, я тоже не мог и не хотел: тот день, когда такое делается привычным и пустым, и есть день, когда из человека выходит то, ради чего его стоило бы оставить в живых. Северин вон вычитает людей без злобы, по надобности, — и в этой-то будничной лёгкости, с какой он это делает, и сидит вся его погибель, хоть он того и не видит.

Я не хотел стать вторым Севериным с другой стороны. Я хотел остаться тем, кто помнит лицо конопатого мужицкого сына, погнанного сюда за чужую правду, — и всё равно делает то, что должно, потому что не делать нельзя, потому что за спиной Настя и Прохор в подвале и вся станица под пулемётом. Вот по этой тонкой, как лезвие, грани мне и предстояло теперь идти: делать страшное — и не зачерстветь; убивать — и не полюбить убийство. Сорвёшься в одну сторону — сломают; в другую — сам сделаешься тем, против кого поднялся.

Это была горькая наука, и я проглотил её там же, у волчьей ямы, на сером рассвете. Малая война в одиночку — не война, а самоубийство, оплаченное чужими жизнями. Чтобы укол стал ударом, а удар — не навлёт расплаты на беззащитных, нужно было не четыре винтовки. Нужны были четыре руки. Сорок рук. Нужен был отряд — пусть малый, пусть из земляков, из таких, как тот, кого я ещё с майдана держал на примете, — но отряд, который примет на себя и дело, и ответ, и не даст красным безнаказанно вымещать злобу на стариках. Один я отныне больше работать не стану. Хватит. Нынче была последняя моя одиночная ходка.

К Гавриле идти первым я решил не зря. Перебрал в уме всех, кого подсказывала Степанова память, и всё возвращался к нему. Гаврила Лиховидов, дружок с малолетства, с которым Степан рос через плетень, вместе бегал на Дон, вместе уходил на германскую. Отчаянный до глупости, лёгкий на руку, скорый и на смех, и на драку — такого первым и убивают, если им не управлять; но такого первым и надо брать, потому что за ним пойдут другие, на его кураж, как идут на огонёк в ночи. А нынче у Гаврилы завёлся и свой счёт: вчера на майдане прочли и его двор, и брата-беглеца, — значит, висит над Лиховидовыми тот же топор, что и надо мной. Кому терять нечего, тот в таком деле и первый.

Был тут, правда, и риск, и немалый. Идя к Гавриле с таким разговором, я выходил из тени — переставал быть тихим контуженым Степаном, за которого держали меня и красные, и половина хутора, и делался тем, кто зовёт на дело. Один неверный человек, одно болтливое спяну слово — и обо мне узнает не только станица, но и сам Северин; и тогда искать меня станут уже не как недосчитавшегося по старому списку, а как зачинщика по новому, особому, с которого спрос иной. Но без этого риска не было и дела. Спрятаться и дожить можно было, лишь перестав быть собою, — а на это я не годился ни в той жизни, ни в этой; не для того меня, видно, и забросило сюда через сто лет и смерть, чтоб я тихо досидел в куренях до своей очереди в логу.

Я в последний раз оглядел волчью яму, притоптал над нею снег, забросал хворостом так, чтоб и свой с ходу не сыскал. Четыре винтовки да патроны лежали теперь в земле, дожидаясь рук. Малое начало — а всё начало; с чего-то надо было класть первый камень, и я его положил этой ночью, у Лещёва брода, ценою чужой смерти и той тяжести, что отныне на мне. Рассвет разгорался чистый, морозный, и в ясном его свете всё виделось проще и твёрже, чем мнилось ночью: путь был один, назад с него хода не было, да я и не искал хода назад.

Я прикрыл яму последней охапкой хвороста, притоптал снег и выпрямился. На востоке разгоралось — холодное, чистое, обещавшее морозный ясный день. Где-то у Лещёва брода уже, поди, нашли своего конопатого, и поднимался крик, и седлали коней. А я стоял на своём бугре, пустой, с одним наганом за поясом, и знал, что нынче же, не откладывая, пойду к Гавриле. Потому что винтовки в яме ждать умеют. А вот станица ждать перестанет — её приучили к мысли, что ждать больше нечего. И эту мысль надо было перебить, пока не поздно, — пока в людях ещё тлеет под пеплом то, что я видел вчера на майдане.

Глава 5

Расплата пришла к полудню. Как я и знал, что придёт. Я сидел дома, латал сбрую. Руки делали, голова считала. Ждал я её с самого рассвета — с той минуты, как присыпал волчью яму хворостом. Знал: у Лещёва брода уже нашли своего Митряя, уже подняли крик, уже седлают коней. И знал, что меня им не сыскать, а раз не сыскать виноватого — спросят с невиноватых. Оттого и сидел на виду, латал сбрую, как сидит всякий мирный хозяин, которому прятаться не от чего и не за что. Хуже нет, чем ждать беду, какую сам накликал, а ни отвести, ни упредить её не можешь. Я латал сбрую и ждал. С края хутора, от Лещёвых дворов, что ближе к броду, долетел шум. Топот. Крик. Бабий взвизг. Я бросил сбрую и вышел на баз. По проулку шёл разъезд. Тот, продотрядный, и с ним ещё конные, незнакомые, злые. Искали. Искали того, кто ночью увёл винтовки и оставил часового под снегом. Меня им было не найти. Следа я не оставил. И, не находя виноватого, они брали тех, кто под рукой. Я пошёл на крик задами, вдоль плетней, как ходил ночью. Надо было видеть. Командир обязан видеть цену своих дел — всю, до копейки. Я подобрался к Лещёвым дворам и залёг за поленницей, в десяти саженьях. Двор был полон конных. Мужиков выгоняли из куреней прикладами. Ставили на колени в снег, рядом. Баб оттесняли к плетню. Где-то ревел ребёнок, и его не унимали. Старшой ходил вдоль ряда. Помахивал плетью. Лицо красное, злое — не как у Северина. Тот вычитал тихо, без злобы. Этот злился искренне, по-простому, как злится дворняга, которую укусили из-за угла. — Кто ночью был у брода?! — Плеть свистнула, легла крайнему на плечи. Тот ткнулся лицом в снег. — Кто часового резал? Молчите? Ну так за молчунов и ответите! Они молчали. Они и не знали — кто. Никто из них не знал. Знал один я. Лёжа за поленницей. Выдрали двоих. Шомполами, при всех, спустив рубахи на мороз. Стёпку Полякова — того, у кого вчера на майдане взяли отца. И ещё одного, помоложе, я его не признал. Спины полосовали докрасна. Бабы выли в голос. Мужики на коленях смотрели в снег и молчали. Старика Кузьмина, что и стоять-то едва мог, поволокли к саням. В заложники. В подвал под Никольскую — к Прохору, к прочим. Я лежал и смотрел. И не двигался. Двинуться значило лечь рядом. И не одному — со мной выволокли бы и Настю, и отца, и ещё десяток. Я лежал за поленницей и пил эту чашу до дна. До самого дна. Потому что заслужил. Лежать пришлось долго. Снег подо мной подтаял и снова смёрзся коркой. Пальцы я отогревал за пазухой, по одному, чтоб не отнялись. А двор всё не пустел. Я глядел и запоминал лица. Старшого в кожанке — рябого, с перебитым носом, с привычкой бить плетью наотмашь, с потягом. Двоих его подручных, что махали шомполами не по службе, а в охотку. Писаря в очёчках — нет, не Северина, моложе, мельче, но из той же породы, что заводит на людей бумаги. Я складывал их в память, как складывал ночью устройство поста: кто, каков, чем берёт, чего боится. Придёт срок — всё сгодится. Ничего не пропадёт. Выпоротых увели под руки свои. Стёпка Поляков шёл и не стонал — стиснул зубы, белый весь, глядел в одну точку. Он меня не винил. Он и не знал, кого винить. А я знал. Видел я и баб. Одна, молодая, цеплялась за стремя — за мужа просила, что в санях, в заложниках. Её отпихнули сапогом. Не зло даже — походя, как отпихивают собаку. Она упала в снег и не голосила больше, только смотрела вслед саням, и в этом её сухом, без слёз уже взгляде было что-то такое, от чего у меня закаменело внутри. Я считал и это. Сапог, отпихнувший бабу. Её сухой взгляд вслед саням. Складывал в ту же память, куда лёг рябой старшой и писарь в очках, — не для жалости, жалостью делу не поможешь, а для счёта, который рано или поздно предъявлю. Всё, что творилось нынче по ту сторону поленницы, я записывал на их сторону, до последней мелочи. И по этой записи им однажды отвечать. А ещё я думал, лёжа в смёрзшемся снегу, о простой вещи: рябой со старшинским надрывом и тихий его хозяин в станице по-своему правы в одном — они правы, что злятся и ищут. Они верно учуяли: завелось в округе что-то, чего прежде не было и чему имени у них покуда нет. Имени нет — а оно уже есть. Лежит за полен-

ницей, в десяти сажнях, смотрит и считает, и завтра пойдёт собирать таких же. Они пороли невинных, чтоб достать виноватого, — и не понимали, что каждым ударом шомпола вбивают этого виноватого всё глубже в землю станицы, делают его своим, кровным, общим. Нынче за меня выпороли Полякова. Стало быть, теперь и я Полякову не чужой. Это была моя работа. Не их. Мои четыре винтовки в волчьей яме. Мой нож под рёбра конопатому Митряю. А пороли — их. И вот в этом была вся правда об одиночке на такой войне, голая и стыдная: одиночка храбр чужой ценой. Он щиплет врага и уходит в ночь. А наутро шомпола ложатся на чужие спины. Одно дело знать такое умом, ночью, у ямы. Другое — увидеть глазами. Разъезд ушёл к вечеру. Забрал заложников. Оставил за собой стонущий, притихший хутор. А я всё лежал за поленницей и наперёд видел, как оно покатится дальше, если я не переменю ходу. Я буду щипать — они будут пороть. Я уведу обоз — они спалят двор. И всякий раз платить станут не я, а старики, бабы, такие, как Настя. До тех пор, покуда я один. Стало быть — хватит быть одному. Нынче же. * * * Гаврилу Лиховидова я нашёл на гумне его двора. Он колол дрова — бешено, без толку, как колют, когда надо выместить то, чему нет другого выхода. Двор Лиховидовых стоял разорённый: ворота сорваны с петель, окно выбито, заткнуто тряпьем. Вчера их прочли на майдане — двор и брата, что у белых; нынче, видать, прошлись и здесь. Гаврила был такой, каким держала его Степанова память: коренастый, чёрный, кудрявый, с щербиной в зубах. Только нынче не было в нём всегдашнего смеха. Он всадил топор в чурбак, выпрямился, утёр лоб рукавом. — Стёпа. — Он оглядел меня, и в злых, набрякших глазах его что-то мелькнуло — то самое, что углядел и отец: не тот Степан, переменялся. Но Гавриле было не до того. — Видал, что деется? Гришку моего в списки прописали. Двор разнесли. Батю чуть не свели — насилу отмолили. За что? За то, что брат у Деникина? Так я-то при чём? — Тише, — сказал я. — Не на майдане. Он осёкся, глянул внимательнее. Я подошёл, сел на колоду, кивнул ему: садись рядом. Он сел. От него пахло потом и злостью. — Гаврила. — Я понизил голос. — Ты вчера на майдане стоял? — Стоял. Как все. — Он сплюнул. — Глядел, как Игната твоего да прочих к стенке — Он не договорил, сжал кулаки. — Стоял и ничего не сделал. Вот что хуже всего, Стёпа. Стоял, как баран, и ничего. — А нынче у Лещёвых? — И там же. — Голос у него сел. — Кузьмина-деда поволокли. Стёпку Полякова шомполами при бабах — Он вскинул на меня глаза, и в них была мука. — Что ж это за жизнь, коли своих при тебе на коленях секут, а ты руки по швам? Я так боле не могу. Слышишь? Не могу. Вот оно. То, ради чего я пришёл. Я не стал торопить: такие слова надо дать человеку выговорить до конца, чтоб он сам себя на них поймал. — А коли б мог? — Я подался к нему. — Коли б нашёлся способ не стоять, а делать? Пошёл бы? — Куда пошёл? На пулемёт с голыми руками? — Он горько усмехнулся. — Так это не делать, это помирать. Помирать я не боюсь, ты меня знаешь. Да без толку помирать — обидно. — А с толком? Он замолчал. Поглядел на меня долго. И в этом взгляде медленно проступило понимание, что разговор-то идёт не пустой, не для того, чтоб душу отвести. — Ты чего задумал, Степан? — Он не сводил с меня глаз. — Говори прямо. И я сказал. Не всё — кто я на самом деле, ему знать было не надо никогда, — но главное. Что винтовки уже есть. Четыре, в надёжном месте. Что одному биться — глупость и грех, потому что платят за одиночку другие, вон как нынче у Лещёвых дворов. А вот если собраться — не толпой на убой, а малым крепким отрядом, своими, проверенными; если бить не сдуру, а там и тогда, где не ждут; и так, чтоб уходить чисто, и так, чтоб и красным было что терять, — тогда это уже не помиранье. Тогда это война. А на войне можно не только лечь, но и отбить своих, и сберечь станицу, и дожить до того дня, когда сила переменится. — Винтовки-то где? — перебил Гаврила, и в глазах его сквозь злость впервые блеснуло живое, мальчишеское. — Бреешь, поди. Откуда у тебя четыре винтовки? — Есть. В надёжном месте. Где — покуда не скажу, и ты не пытай. — Я поглядел на него в упор. — Запомни первое, Гаврила, коли идёшь со мной: всякий знает ровно столько, сколько ему надо для дела, и ни на полслова больше. Не оттого, что я тебе не верю. Оттого, что возьмут — станут спрашивать. А чего не знаешь, того и под шомполлом

не выдашь. Видал нынче, как спрашивают? Он посерьёзней, кивнул. — Видал. — Помолчал, переваривая. — А ведь дельно. Это где ж ты этакому выучился, Стёпа? На германской мы по другому воевали — в рост, в лоб, под барабан. — На германской за то нас и клали — в рост да в лоб, — сказал я. — А я хочу воевать не красиво, а так, чтоб наши после жили. Красиво пушай Северин воюет, у него для красоты пулемёт есть. Гаврила хмыкнул, и в этом хмыке было уже не одно любопытство, а одобрение. Он слушал дальше, и щербатый рот его понемногу расходился — не в смех, нет, а в тот оскал, какой бывает у человека, которому наконец показали дверь из чулана, где его держали взаперти. — А Гришка? — вдруг сказал он, и оскал сошёл с лица. — Брат-то мой — там, у Деникина. А ну как сойдёмся в поле — он оттоль, я отсель? Я ж в него стрелять не смогу, Стёпа. И он в меня. Я знал, что этот вопрос придёт, — не у него, так у другого: на Дону война резала семьи надвое, не разбирая, и каждому рано или поздно выпадало поглядеть на брата через прицел. Соврать тут было нельзя. Соврёшь — и человек после не поверит ни единому твоему слову, а на лжи отряда не построишь. — Не знаю, Гаврила. — Я выдержал его взгляд. — Может, и сойдётесь. Война родства не разбирает, я тебе врать не стану. Скажу одно: мы не на Гришку твоего поднимаемся и не на таких, как он. Мы поднимаемся на тех, кто нынче Кузьмина в подвал поволок, Полякова шомполом исхлестал, бабу сапогом в снег. Эти — вот они, рядом, при пулемёте. С них и начнём. А доведётся когда выбирать промеж братом и делом — будешь выбирать сам, своей совестью, я тебя неволить не стану. Так-то честнее, чем сулить, будто до того и не дойдёт. Гаврила долго молчал, катал желваки, глядел в подтаявший снег под ногами. Потом поднял голову. — Честно, — сказал он. — Не сулишь лёгкого — и на том спасибо. Лёгкое-то мне уже всякий сулил. — Он невесело усмехнулся щербиной. — Помнишь, по осени агитатор приезжал, из ихних: мир, мол, земля, воля. Землю-то дали — вон, в логу теперь лежат с той землёю. Я учёный. — Стёпа, — сказал он, когда я кончил. — А ведь ты и впрямь переменялся. Прежний Стёпка таких слов сроду не складывал. — Он хлопнул себя по колену. — Да мне-то что! Хоть с чёртом, абы делать. Я с тобой. С потрохами. Когда зачинаем?* * * *Зачинать мы уговорились не вдруг, и в этом «не вдруг» была уже моя, чужая для этого хутора метода, которую Гавриле ещё предстояло понять и принять, — потому что казак, доведённый до края, рвётся отплатить нынче же, сей же час, а такая горячность в нашем деле дороже всего обходится и кладёт людей вернее любого пулемёта. — Не завтра, — сказал я ему. — И не на майдан с шашками наголо. Сперва — люди. Свои, верные, кого ты знаешь, как себя самого. Немного для начала — пятеро, шестеро. Но чтоб каждый был не криклив, а надёжен; чтоб не сболтнул спьяну лишнего, не струсил в деле, не побежал в первой же стычке, бросив товарища. Лучше пятеро таких, чем полста горлопанов, которых на первом пулемёте положат, а после, под страхом, они же тебя и выдадут. — Дед Архип, — сразу сказал Гаврила, и я мысленно поставил ему за это первую отметку: соображает, не дурак, понял с полуслова, какие люди нужны. — Дрёмов Архип, пластун старый, ещё с японской. Молчун, нелюдим, живёт бобылём на отшибе, у самой левады. Зато такого ночью не услышишь, а днём в трёх шагах не углядишь. И стреляет — белке в глаз бьёт, не целясь. — Годится, коли пойдёт. Кто ещё? И мы перебрали хутор по дворам — тихо, вполголоса, на разорённом гумне, под редкий стук подтаявших за день капель со стрехи. Гаврила называл, я отсеивал, как отсеивал всю прежнюю жизнь, набирая людей в дело, где за чужую ошибку платишь своей головой: этот горяч сверх меры, этот в кости жидок, у этого язык как помело, как до чарки дорвётся. Оставалось немного — но оставалось, и это было главное. Тимофей Морозов, подхорунжий, сосед, — мужик тяжёлый, упрямый, меня, чую, недолюбливающий, но крепкий, рассудительный и честный до корня, а за такими люди идут охотнее, чем за горлопанами. Мишка Зыков, мальчонка лет пятнадцати, у которого красные свели на тот свет отца, — этого надо беречь, в самое пекло не пускать, но и от мальчонки в деле бывает прок, какого от взрослого не дождёшься. Ещё двое-трое фронтовиков, что вернулись с германской да маются теперь без дела, не зная, куда девать руки, привыкшие к винтовке. Я слушал имена и

за каждым видел не просто человека, а место в будущем деле: этому ходить в разведку, этому держать огонь, этому беречь обоз, этого ставить рядом с собой, а этого — поодаль, под пригляд, покуда не проверю в малом. Ремеслу собирать из разных, негодных поодиночке людей одно работающее целое меня учили долго и дорого, и оно осталось при мне, перейдя через смерть и через сто лет так же, как осталась при этом теле сноровка к шашке и к седлу. Гаврила, называя, видел дружков, соседей, родню; я видел отряд. И в том, что мы глядели на одних и тех же людей по-разному, а тянули в одно, был, может статься, главный наш с ним залог: куражу у Гаврилы доставало на двоих, холодного расчёта — у меня; порознь мы оба сгинули бы скоро и без толку, а вместе из нас могло выйти то, с чем самому Северину пришлось бы считаться. А покуда вся моя армия была — я да Гаврила, четыре винтовки в яме, дедова шашка да наган. Назавтра Гаврила пойдёт к Архипу. Согласится Архип — втроём потолкуем с Тимофеем, а Тимофей упрям и меня недолюбливает, его убеждать придётся делом, не словом. Дальше — Мишка, фронтовики, по одному, по два, без спешки, проверяя каждого на малом, прежде чем доверить большое. Седмица, а то и две уйдёт на то, чтоб из горстки имён сделать горстку людей, готовых идти в дело и не побежать в первой стычке. Времени было в обрез — красные не ждали, и Северин не ждал, и списки писались дальше, по дворам и хуторам. Но и торопиться было нельзя: торопливый отряд — не отряд, а готовая братская могила. Главное в этой науке терпение, какого у доведённых до края людей как раз и нет. Стало быть, терпение придётся принести мне. Костяк собирался. Не отряд ещё — горстка имён, названных шёпотом на чужом разорённом гумне, под капель да под далёкий собачий брёх. Но всякий отряд, какой я знал и водил в той, прежней жизни, начинался когда-то ровно так: с горстки имён и одного человека, который решился назвать их вслух и взять за них ответ. Я знал и другое, чего не знал покуда Гаврила: что из этой горстки кто-нибудь да окажется не тем, за кого его держат, — струсит, или продаст, или просто проболтается, — и что мне теперь жить с этим знанием, и проверять каждого не один раз, и всё одно когда-нибудь обжечься. Без этого риска не бывало ещё ни одного отряда на свете. Кто хочет воевать без риска, тот пусть сидит дома, покуда за ним не придут по списку. — Завтра потолкуешь с Архипом, — сказал я, поднимаясь. — Один, без свидетелей. Скажешь: есть разговор, не для чужих ушей. Боле покуда никому ни слова. И ещё: что мы с тобой нынче тут говорили — забудь. Не было разговора. Были два дружка, что погоревали на гумне о побитой родне. Уразумел? — Уразумел, Стёпа. — Он тоже встал, и я увидел, что злость в нём перегорела во что-то иное, твёрдое и спокойное; впервые за весь этот чёрный день он держался прямо — не как побитый, а как человек, у которого снова появилось дело и завтра. — Слышь а ведь чудно. Утром думал — конец нам всем, лежать в логу. А ноне гляжу на тебя — и будто посветлело. Чудной ты стал, Степан. Да, видать, нам ноне такой и надобен. Я шёл от Лиховидовых задами, по-за гумнами, в ранних синих сумерках, и думал о том, что вот он и сделан — первый шаг, какого назад уже не отыграть. Я вышел из тени. Был тихий контуженый Степан, за которого держали меня и красные, и хутор, — и не стало его; стал тот, кто зовёт на дело и кого знает теперь один человек, а завтра будут знать двое, послезавтра шестеро. В этом была сила — и в этом была петля, накинутая мною самому себе на шею. Стоит одному из этих шестерых дрогнуть, или польститься, или просто не сдержать языка — и Северин узнает моё имя, и станут меня искать уже не как недосчитавшегося по старому списку, а как зачинщика, по новому, особому, с которого и спрос особый. Я взвесил это на ходу, холодно, как взвешивал всё, — и принял, потому что иного пути не было. «Один в поле не воин» — эту простую, как ломоть хлеба, истину знали на тихом Дону задолго до меня, и нынче, у Лещёвых дворов, лёжа за поленицей, узнал её до конца и я. Воина делает не храбрость и даже не выучка. Воина делают те, кто стоит с ним рядом и за кого стоит он сам. Шестеро имён, названных шёпотом на гумне, — это ещё не они, не отряд, не сила; это только семья. Но завтра я пойду его сеять. И тогда это будет уже не моя одинокая, оплаченная чужими спинами война, а наша, общая, за которую и стоять, и платить мы станем вместе — и впервые с той ночи в логу мысль эта

была мне не в тягость, а в опору. Над хутором сходились морозные синие сумерки. В Лещёвых дворах обмывали ещё рубцы от шомполов и поминали уведённого Кузьмина. По дороге я нагнал старуху — несла от колодца цибарку воды, расплёскивая, и снег под каплями чернел. Я узнал её: вдова Полякова, у которой вчера на майдане забрали мужа, а нынче исхлестали шомполами сына. Я молча отнял у неё цибарку, понёс. Она глянула на меня снизу, без слёз — выплакала уже, — и сказала тихо, не жалуясь, а будто отмечая погоду: «Терпи, Стёпушка. Бог терпел и нам велел». И в этом её «терпи», сказанном без всякой надежды, по одной лишь кровной, в кость въевшейся привычке не падать, было всё то, на что я нынче поставил. Их валили — они вставали и шли за водой к колодцу, потому что дома дети, потому что скотину поить, потому что жить. Этой упрямой, неказистой, нерассуждающей силы Северину было не вычесть никакими списками. Надо было только повернуть её — со «стерпится» на «не дадимся». А я шёл домой и чувствовал под ногами не зыбкую чужую землю, как все эти дни, а твёрдую, наезженную дорогу. Я знал теперь, куда идти. Оставалось малое и самое трудное: собрать тех, кто пойдёт по ней со мною.

Глава 6

Архипа Дрёмова Гаврила привёл на третий день — привёл не в курень, а на заброшенную мельницу за левадой, куда я велел сходитья по одному и в разное время. Сам я пришёл затемно и ждал, и, когда они появились в сером свете занявшегося утра, оценил Гаврилу заново: шёл он не прямоком, а с оглядкой, петляя, как я учил, — стало быть, наука прививалась. А вот старика я бы и не услышал, если б не ждал: Архип возник в дверном проёме без единого звука, будто наплыл вместе с туманом, и стоял, разглядывая меня, и молчал.

Был он сухой, среднего роста, с бритой седой головой и длинными выгоревшими усами; глаза выцветшие, блёкло-голубые, как небо в стужу, — а взгляд из этих блёклых глаз шёл цепкий, ощупывающий, и я понял сразу: этот не Гаврила, этого красивыми словами не возьмёшь. Он меня изучал так, как изучает охотник чужой след: не торопясь, всё подмечая, ничему наперёд не веря.

— Вот, дед Архип, — сказал Гаврила, переминаясь. — Я ж говорил. Стёпка Беркутов. Дело у нас.

Старик не ответил Гавриле. Он шагнул ближе, обошёл меня раз, словно коня на торгу, и заговорил наконец — негромко, так, что пришлось вслушиваться:

— Беркутова Степана я с зыбки знаю. Лба не хватало у Степана, чтоб дело замыслить, а хватало, чтоб в драку влезть. — Он остановился прямо передо мной, близко. — А ты не Степан. Степанов с лица, а нутром — не он. Кто ж ты, мил человек?

Гаврила дёрнулся, но я остановил его взглядом. Со стариком финтить было нельзя — он чуял ложь, как собака чует зверя. И я ответил единственным, чем мог ответить, не выдавая себя: правдой, у которой обрезаны концы.

— Контузило меня, дед. По голове крепко взяли, в плену. Иным с того света вертаются. — Я выдержал его взгляд, не отвёл. — Степан, да не тот. Это верно. Прежний бы вас на мельницу затемно не сзывал. А этот сзывает. Тебе со мной детей не крестить — тебе со мной дело делать. Гляди на дело, а не на меня.

Старик долго молчал, посасывая впалую щёку. Потом достал из-за пазухи рожок, не спеша заправил в ноздрю табуку, чихнул в кулак — тихо, привычно гася звук, — и это было первое, что во мне отозвалось доверием: даже чихал он по-пластунски, бесшумно, как человек, у которого тело смолоду приучено не выдавать хозяина.

— Дело, — повторил он, будто пробуя слово на зуб. — Какое ж дело, мил человек, у горстки голодранцев против сотни с пулемётом? В лог лечь — вот и всё ваше дело.

— А вот мы с тобой и поглядим, в лог или нет. — Я шагнул к нему ближе. — Скажи, дед: пост у Лещёва брода ты знаешь?

— Знаю. Был там их пост. Был, да сплыл: третьего дня кто-то у них часового снял да винтовки увёл, и комар носу не подточил. — Он прищурился, и в блёклых глазах его мелькнуло что-то острое. — Уж не твоя ли работа, контуженый?

Я не ответил. Я только смотрел на него и молчал, и моё молчание сказало ему всё. Старик пожевал ус, крикнул, и впервые за весь разговор в лице его что-то сдвинулось — не улыбка, нет, а тень одобрения, какую у таких, как он, заслужить дороже всякой похвалы.

— Чисто сделано, — сказал он тихо. — По-нашему, по-пластунски, да ещё ловчее. Где обучен?

— На германской насмотрелся. — Я качнул головой. — Где ж ещё.

— На германской в рост ходили, я знаю, у меня там сын лёг. Так не ходят. — Он покачал бритой головой, не споря, а как бы откладывая вопрос на потом. — Ну, контуженый. Допустим. Слушать землю ты, видать, умеешь. Чему другому, может, и я тебя поучу — старого-то пластунского обихода ты, при всей твоей ловкости, не знаешь, по глазам вижу. А ты меня —

своему. Поглядим, чья наука вернее. Беру тебя в науку, мил человек. И сам в твою иду. На том и сладимся.

И сладились — не словом, а делом, тут же. Архип вывел меня из мельницы на серый рассвет, к опушке левады, присел на корточки и поманил пальцем. «Гляди», — сказал он одними губами. Я глядел и не видел ничего: снег, кусты, дальний плетень. «Не туда глядишь. Глазами шаришь, а надо нутром. Замри. Дыши через раз. И не ищи, а жди, покуда само не шевельнётся». Я замер. И через минуту, через две — углядел: у дальнего плетня, в кустах, едва приметно качнулась против ветра ветка, и из снега выпросталась, повея ухом, заячья голова. Я бы её в жизни не заметил. Старик видел её всё это время.

«Так и человек, — сказал Архип, разгибаясь без единого хруста. — Кто шарит глазами — того видать. Кто ждёт нутром — того нет вовсе. Этому, мил человек, за неделю не выучишься: этому сызмальства учат, в степи, с дедом. Да кое-что покажу — авось ляжет на твою голову». И он показывал — в то утро и в другие: как залечь, чтоб тебя не стало; как читать след — давно ли прошёл, гружён ли, не хромает ли под седоком конь; как по дыму, по птице, по собачьему бреху за версту знать, что творится в чужом дворе. Старое, дедовское, не писанное ни в одном уставе знание степняка, которое я при всей своей выучке знал жидко, по книжкам, а он — кожей, нутром, до мозга костей.

А я платил ему своим. Показывал, как кладётся огонь, чтоб простреливать подход и не оставлять мёртвых зон; как ставить дозор, чтоб стерёг не один зевака, а двое крест-накрест; как считать у врага не людей, а распорядок — когда смена, когда обед, когда они сыты, пьяны и слабы. Старик слушал, кивал нечасто, а когда кивал — я знал, что лёг в самую точку. «Мудрёно, — обронил он раз. — Да верно. Дед мой так ватагу на турка водил, только слов таких не ведал. Ты, видать, тех же кровей, контуженый, — кто б тебя по голове ни приложил». Это было ближе к разгадке, чем подходил кто другой, и я смолчал, а старик не стал допытываться. Ему довольно было, что наука моя верна. Откуда она взялась — это он оставил Богу.

В одну из тех ночей мы с Архипом сходили к самой станице — не для дела ещё, для гляденья. Я хотел увидеть своими глазами то, что покуда знал по слухам да по Дарьиным причитаниям; а старик хотел поглядеть, чего я стою не на словах, а в поле, в снегу, под носом у врага. Вышли затемно, балками, шли долго, и старик всю дорогу показывал мне, не оборачиваясь, одними короткими взмахами ладони: тут низом, тут ползком, тут замри и слушай. Я шёл за ним и учился, и злился на себя, что в свои годы и при своей выучке учусь, как зелёный мальчишка, — а после злиться перестал, потому что наука была настоящая, не из книжек, и грех такую не взять.

Станица лежала в низине тёмная, с редкими огнями. Я залёг на меловом бугре и долго, уже по-архиповски, не шарил глазами, а ждал нутром, — и станица понемногу открывалась мне, как открывается карта, на которой проступают невидимые днём линии. Вот у церкви огонёк и при нём чёрное: пулемётный пост, и не дремлет, меняются исправно — Северин и тут навёл свой порядок. Вот по главной улице, к правлению, дважды за ночь прошёл дозор, конный, парный, в один и тот же час; ходят по часам, а что по часам, то предсказуемо, а что предсказуемо, то уязвимо. Вот мёртвые, нежилые теперь двory согнанных; вот у околицы, где посветлее, занятые красными избы, коновязь, сонные кони. Я считал и запоминал, и рядом так же молча считал старик, и под утро, отползая, мы, не сговариваясь, сошлись на одном.

— На самоё станицу нам покуда зубов не хватит, — сказал Архип, когда мы отошли в глухую балку. — Сила не та. А по дорогам ихним пощипать — это можно. Обозы у них ходят, разьезды. Возьмём не крепость, а то, что само в руки плывёт.

— Верно мыслишь, дед. — Похвала вышла скупой, да старик принял её, дёрнув усом: видать, и ему она была не лишняя. Мы думали в одну сторону — он своим вековым степным умом, я своей поздней наукой — и сходились, и в этом сходстве была половина дела. Вторая половина оставалась в людях, которых ещё предстояло из горстки сделать отрядом.

* * *

Тимофей Морозов сладился не так.

Он пришёл на мельницу в тот же день, к вечеру, — позвал его Гаврила, и зря, может, позвал так рано, да сделанного не воротить. Подхорунжий Морозов был мужик крупный, тяжёлый, с тёмными, глубоко посаженными глазами под густыми бровями и сломанным когда-то носом; он вошёл, оглядел нашу мельницу, Гаврилу, старика Архипа в углу — и встал, расставив ноги, заранее против.

— Это что за круг тут собрался? — Он не поздоровался. — Стёпка Беркутов воеводой заделался? Ты, Степан, в уме ли? Тебя по голове так стукнули, что ты войну надумал?

— Сядь, Тимофей. — Я показал на чурбак у стены. — Разговор не на ходу.

— Я постою. — Он скрестил руки. — И слушать тебя не сяду, покуда не пойму, кого слушаю. Степана я знал. Степан был казак как казак — не умней протчих, не глупей. А ты с того майдана воротился иной. Тихий, ровный, глядишь — будто насквозь считаешь. — Он шагнул ближе, понизил голос, и в нём прорезалась прямая угроза: — Я тебе так скажу. Либо ты порченый — тогда вести нас тебе нельзя, погубишь. Либо ты не порченый, а кто иной под Степановой шкурой, — тогда тем паче. И в том, и в другом разе мне с тобой не по дороге.

На мельнице стало тихо. Гаврила побледнел, рука его поползла было к поясу. Архип в углу не шевельнулся, только глядел — кому, мол, теперь ход. Ход был мой, и я знал, что слово тут не поможет: Морозов из тех, кто верит не словам, а тому, что у человека за словами. И я не стал ни оправдываться, ни божиться. Я сделал проще.

— Тимофей, — сказал я ровно. — Ты прав, что я переменялся. Не стану врать, что прежний. Майдан меня переменял — да тебя разве не переменял? Ты-то сам после Игната тот же остался? — Я видел, как у него дёрнулась скула, и понял, что попал. — Я тебе ни божиться, ни клясться не буду — клятвами брешут. Я тебе одно скажу: пост у Лещёва брода помнишь?

— Ну.

— Часового там кто снял? Винтовки кто увёл? — Я выдержал паузу. — Не спрашивай, я не отвечу при всех. Но ты человек военный, ты сам прикинь, кто на это в хуторе способен. И прикинь другое: погубить вас я мог бы и так, не сзывая. Стукнуть на тебя в станицу — и взяли бы тебя ноне же. А я тебя на мельницу зову, в дело, спиной к тебе становлюсь. Враг так не делает, Тимофей. Враг бьёт исподтишка, а не зовёт в товарищи.

Он не отвечал, и я добавил тише, для него одного:

— А хочешь проверить, порченый я аль нет, — изволь. Ты на германской в окопах сидел, ты человек военный. Скажи мне: сколько у красных в станице пулемётов и где стоят? Когда меняют караул у церковного подвала? По какой улице возят к ним подводы с фуражом и в какой час? Не знаешь. А я знаю. Всё, до последней мелочи.

И я выложил ему расклад — числа, посты, часы, улицы, — сухо и быстро, как выкладывают карты на стол перед тем, кто умеет в них читать. Морозов слушал, и я видел, как военный человек в нём против собственной воли проверяет каждое моё слово на свой фронтовой аршин — и не находит, к чему прицепиться.

— Вот и вся моя порча, Тимофей, — сказал я. — Не бес во мне сидит. Сидит во мне привычка: покуда вы три дня горевали, я три дня глядел и считал. Тем и страшен буду красным, не саблей. Саблей у них всякого больше.

Морозов молчал, и видно было, как тяжело ворочается в нём мысль, как боданье его с самим собой выходит ему трудней, чем со мной. Он покосился на Архипа:

— А ты, старый, чего тут? Тебя-то каким ветром к мальчишкам?

— А тем ветром, Тимоша, — отозвался из угла Архип, не повышая голоса, — что пост у брода и впрямь сняли чисто. Я там был, след читал. Так у нас на Дону отродясь не умели — ни деды, ни прадеды. А он умеет. — Старик пожевал ус. — Я полста лет на свете живу и

дурней себя слушать не стану. А этого послушаю. И ты послушай. Голова тебе пока на плечах не лишняя.

Слово старого пластуна весило на Дону больше иного приговора. Морозов крякнул, прошёлся по мельнице, пнул сапогом труху. Потом обернулся.

— Ладно, — сказал он тяжело. — Покуда — ладно. Но я тебе, Степан, не Гаврила, я в рот тебе глядеть не стану. Уговор такой: покажешь дело — пойду за тобой. Не покажешь, положишь людей сдуру — своею рукой тебя и порешу, кто бы ты ни был. По рукам?

— По рукам, — сказал я. И мы ударили по рукам, и хватка у него была железная, проверяющая, и я ответил такой же.

* * *

К исходу недели ядро собралось.

Кроме Гаврилы, Архипа да упрямого Морозова, пристали ещё двое фронтовиков-одностаничников — молчаливый, рябоватый Аникей, что вернулся с германской без двух пальцев на левой, да Влас, рыжий, обстоятельный, бывший при полковой пулемётной команде, чему я особенно обрадовался: человек, знающий «максим» изнутри, стоил в нашем деле десятка просто храбрых. Прибился и Мишка Зыков — пятнадцатилетний, светловолосый, в веснушках, с длинной, не по росту, отцовской винтовкой, которую таскал, как святыню; отца его свели в заложники, и мальчонка ходил за мной тенью, и сколько я ни гнал его домой, возвращался. В конце концов я махнул рукой: пусть будет при обозе, в самое пекло не пушу, а от беды дома он всё одно не спрячется. Беречь его теперь стало ещё одной моей заботой, и заботой не из лёгких.

Шестеро. Семеро со мной. Не отряд ещё — горсть. Но эту горсть я знал теперь поимённо, в лицо, и за каждым видел не просто земляка, а место в будущем деле: Архип — глаза и уши, разведка; Влас — огонь; Гаврила — порыв, который надо держать в узде; Морозов — тяжёлая, надёжная сила и второй голос, если сумею его до конца переломить; Аникей — терпеливый стрелок; Мишка — связной, при обозе. Из этих разрозненных, негодных поодиночке людей мне предстояло сложить одно работающее целое, и я знал, что это, а не винтовки в волчьей яме, и есть главная моя работа на ближайшие дни.

Я собрал их в тот вечер в кружок, на земляном полу мельницы, при одной коптилке, и сказал то, что говорят в начале всякого дела, без чего дело рассыпается: сказал, кто над кем и кто за что в ответе. Сказал, что отныне мы не семеро удальцов, всяк сам по себе, а один кулак, и что кулак тем и силён, что пальцы в нём не врозь. Сказал, что слушаться будут меня — не оттого, что я лучше или старше, а оттого, что в деле без единой головы все головы быстро ложатся рядом. Морозов слушал, набычившись, но не перечил — выжидал обещанного дела. Архип думал свою думу, глядя в пол. Гаврила сиял, как именинник.

Я расписал им и ближайшие дни — не дело ещё, а подготовку к делу, чему казаки моему противились всем своим нутром, привыкшим, что воюют сразу и шашкой, а не учатся неделями по балкам. Будем, сказал я, ходить ночами с Архипом, учиться таиться и читать след. Будем по очереди, по двое, по трое сходить к станичным дорогам — глядеть, считать, запоминать, когда и какие обозы ходят, какие разъезды и в какой час, где у красных тонко. Будем стрелять — мало, бережа патрон, но так, чтоб всякий клал пулю не в белый свет, а в цель. И только потом, когда я увижу, что мы не толпа, а отряд, — возьмём первый обоз, тихо и наверняка, чтоб вышло чисто и чтоб все вернулись по дворам живыми. Это и будет наша наука и наша присяга разом: не геройски лечь на миру, а сделать и уйти, и завтра сделать снова.

— А что за дело-то будет, Стёпа? — не утерпел он. — Когда красных бить?

— Бить будем не скоро. — Гаврила разочарованно крякнул, а я и не подумал его утешить. — Сперва учиться. Неделю, две. Я вас буду учить, как воевать малой силой против большой и оставаться живыми; Архип — как ходить и таиться по-пластунски. А уж после, когда станете не толпой, а отрядом, — тогда и первое дело. Тихое. Чтоб вышло чисто и чтоб все вернулись. На том и держится наша война: не геройски лечь, а сделать и вернуться, и завтра сделать опять.

— Скучно у тебя выходит, командир, — проворчал Морозов. Но в том, что он впервые назвал меня командиром, пусть и в насмешку, было больше, чем в ином присягании.

Я разделил их в тот же вечер — не по чести и старшинству, как привык казак, а по делу, и этим сразу задел их древнее понятие о том, кому где стоять. Архипа поставил над разведкой, над глазами и ушами отряда, — и тут не спорил никто, старого пластуна чтители все. Власа, бывшего пулемётчика, определил над огнём — над тем «максимом», какого у нас покуда не было, но какой я твёрдо положил себе добыть. Гаврилу взял себе в правую руку для дела скорого и дерзкого; Морозова — для дела тяжёлого и надёжного; и оба, чую, остались каждый при своём неудовольствии — Гаврила тянул к степенству, Морозов к простору. Молчуну Аникею выпало стрелковое; Мишке — обоз, связь да строгий мой наказ в драку носа не совать.

Они выслушали, поворчали, перемигнулись, но перечить не стали: всякому было видно, что расставил я людей не наобум, а под каждого, разглядев в нём то, чего он, может, и сам в себе не знал. И это тоже было ремеслом, и не последним: дать человеку место, на котором он силён, — и тем привязать его крепче всякой присяги. Уговорились о связи — через кого, по каким приметам, где сходка; о том, что по дворам ни слова, ни полнамёка, даже бабам, даже под чаркой; о том, что всякий, кто проболтается, кладёт под нож не себя одного, а всех. Это я повторил дважды и трижды, не доверяя их горячей крови: я знал твёрдо, что погубит нас не пулёмёт, а длинный язык, и беречься надо не столько красных, сколько своей же казачьей повадкой погулять да похвалиться удачью.

Когда уговор был кончен, Гаврила всё же не утерпел и спросил со своей щербатой ухмылкой:

— Стёп, а Стёп. Имя-то у нас будет? У всякого войска имя есть.

— Будет тебе имя, не торопись. Заслужим — само прилипнет. А покуда мы не войско, а семеро мужиков на старой мельнице, и чем тише про нас в округе, тем дольше мы живём.

Мишка, сидевший с краю и обнимавший свою длинную, отцовскую ещё винтовку, глядел на меня снизу вверх такими глазами, что у меня защемило в груди. Для мальчонки всё это было не петля и не страх, а сказка, в которую он наконец-то попал: настоящая война, как в играх за гумном, только взаправду. Я знал, что взаправду она окажется совсем не такой, как в играх, и что уберечь его от этого знания я сумею недолго; и это, пожалуй, было самым тяжким из всего, что я на себя в эти дни взвалил, — тяжелее винтовок в волчьей яме, тяжелее Морозовой угрозы зарезать меня своею рукой, тяжелее даже собственной неназываемой тайны.

Я отпустил их по одному, в темноту, и долго ещё сидел на мельнице один, при гаснущей коптилке, и думал. Думал не о красных — о своих. О том, что взял теперь на душу шесть чужих жизней и одну детскую впридачу, и что всякая моя ошибка отныне будет оплачена не моей кровью, а их. О том, что Морозов прав в своей угрозе и что я сам, на его месте, сказал бы то же. И о том, что где-то там, в станице, за полторы версты, тихий комиссар Северин складывает свои бумаги и не знает покуда, что на заброшенной мельнице за левадой нынче родилось то, чему он ещё не придумал имени. Имя придёт. Я ему это имя напишу — не на бумаге, а так, чтоб он его запомнил. Дай только срок выучить людей. Срок — это всё, чего я теперь у судьбы просил: малый срок, покуда красные нас не хватились.

Глава 7

Учить казака воевать по-новому — всё одно что учить взрослого мужика наново ходить. Он умеет, он с детства умеет, и всякое твоё «не так» принимает как обиду кровную. Первый же урок едва не сделался последним. Я вывел отряд в дальнюю балку, подальше от чужого глаза, и велел им то, чего казак сроду по доброй воле не делал: ложиться. Не в седло садиться, не шашку вон, а ложиться на мёрзлую землю, вжиматься в неё, ползти по-пластунски, прячась за всякий бугорок, за всякий кустик. Я показал сам — как двигаться, чтоб тебя не было видно, как держать винтовку, чтоб не звякнула, как замирать, сливаясь с землёй. А после велел повторить. Они стояли и глядели на меня, как на хворого. — Это что ж, — протянул наконец Морозов, и густые брови его сошлись к переносью, — это казак, стало быть, должен на брюхе ползать, ровно гад? Казак на коне воюет, в рост, в лаву, грудь в грудь. А ты нас по-пластунски, по-собачьи в землю носом тычешь. Не по-казачьи это, Степан. Деды наши над таким посмеялись бы. — Деды твои, Тимофей, против турка в конном строю ходили, — сказал я. — И правильно ходили, потому что у турка не было пулемёта. А у Северина пулемёт есть. Один. И этот один твою казачью лаву, всю, как есть, в красоте и в гоноре, выкосит за полминуты, и не доскачете вы до него, и ляжете все рядком в чистом поле, грудь в грудь, как ты хочешь. Красиво ляжете. Только мёртво. — Брешешь, — упёрся Гаврила, но без злобы, а так, по молодости, для куражу. — Лава — она страшная. Я под Луцком в лаву ходил, германцы бежали. — Германцы бежали, где у них пулемёта в нужном месте не стояло, — терпеливо сказал я. — А где стоял — там и наша лава ложилась, и ваша. Ты вспомни не где бежали, а где наших клали штабелями. Вспомнил? Вот то-то. Гаврила насупился, припоминая, и видно было, что припомнил, и что воспоминание не из весёлых. Старик Архип, сидевший в стороне на корточках, посасывал свой неизменный табак и помалкивал, но в блёклых глазах его я читал согласие: он-то, пластун, знал цену умению быть невидимым, его-то учить лежать не надо было. — Слушайте сюда, — сказал я и присел, чтоб говорить с ними как с ровней, а не как с высоты. — Я вас не от казачьей удали отучаю. Удадь ваша при вас останется, и придёт ей срок. Я вас учу не помирать сдуру. Нас семеро. Семеро, понимаете? Нам каждый человек дороже, чем красным сотня. Мы не можем себе позволить лечь красиво — нам надо побеждать некрасиво, тихо, из-за угла, и оставаться живыми, чтоб назавтра ударить снова. Лава хороша, когда вас тысяча. А когда вас семеро — ваша лава это похороны. Они слушали, и до них помаленьку доходило — не сразу, не вдруг, упираясь всем казачьим существом, но доходило. Морозов крякнул, отвернулся, но спорить перестал. А когда я повторил приказ ложиться — легли. Неловко, сердито, кляня меня про себя последними словами, — но легли. И поползли. И это было моей первой над ними победой, потише иной баталии: я заставил гордых людей делать то, что они считали для себя позорным, — заставил не криком, а тем, что они и сами, в глубине, под гонором, понимали мою правоту. А дальше пошли дни, каких на тихом Дону отродясь не видывали. Я гонял их с утра до темна, в дальних балках, и учил вещам, которым казака не учат, потому что казак мнит, будто и так всё умеет. Учил ходить так, чтоб под ногой не хрустнуло, — и Гаврила, здоровый, как медведь, ломал всякий раз сушняк на всю балку, краснел, поминал чёрта и снова ломал. Учил перебегать от укрытия к укрытию, не давая глазу за себя зацепиться, — и Аникей, молчун, схватывал на лету, а грузный Влас ронял шапку и поминал уже не чёрта, а кое-что покрепче. Учил говорить знаками, без голоса: кулак — стой, ладонь к земле — ложись, два пальца к глазам — гляди туда; и казаки, привыкшие в бою орать во всю глотку, путались в этой немой грамоте и ржали над собою, как застоявшиеся кони. Гонору в них было на десятерых. Особо упирался Сазон, приставший к нам из соседнего хутора: тот объявил, что казаку в землю носом тыкаться — позор и срам и что он лучше в открытую помрёт, чем по-собачьи поживёт. Неволить я его не стал. Сказал только: вольному воля, Сазон, ступай домой; нам тру-

сов не надо, нам надо живых. Слово «трус» его обожгло — остался. И через несколько дней ползал не хуже прочих, и сам же первый смеялся над тем, каким был дурнем поначалу. Так оно и шло: гонор ломался об дело, а на месте сломанного нарастало умение, и умение это им самим начинало нравиться, как нравится всякому мужику новое мастерство, в котором он чувствует силу. Тяжелее всего давалось не тело, а голова — отучить их от мысли, что война есть удаль, и приучить к мысли, что война есть работа. Что храбрость без расчёта не доблесть, а способ осиротить семью. Что отступить, сберёгши людей, бывает умнее, чем стоять насмерть и людей зря положить. Это шло вразрез со всем, на чём они выросли, со всеми песнями и присказками, — и я не спорил с песнями, я просто день за днём показывал на деле, что моя скучная правда вернее красивой неправды. И они, морщась, её принимали — не оттого, что я красно говорил, а оттого, что хотели жить сами и хотели, чтоб жили их станицы. Учил я их и ночью. Ночь — наш союзник, твердил я им; ночью семеро стоят сотни, коли умеют ходить в темноте, а сотня в темноте слепа и пуглива. И мы ходили ночами: учились двигаться по звёздам да по ветру, сходиться в условленном месте поодиночке, узнавать своего по уговорённому знаку — крику ночной птицы, какому Архип выучил нас так похоже, что и сова бы обманулась. Казаки, дневные, конные люди, поначалу робели ночи пуще самих красных, путались, теряли друг друга в двух шагах; а после втянулись, и темнота из врага сделалась им домом. Это была, может, главная из наук, какие я в них вложил: кто владеет ночью, тот владеет войной, в какой нас, малых, мало. Был и смех — без смеха в таком деле нельзя, он держит людей не хуже приказа. Раз я заставил их битый час пролежать в снегу без движения, уча терпению засады, — и грузный Влас уснул и захрапел на всю балку так, что мы после долго гадали, не выдал ли этот храп нас всему Тёплому буераку заодно с Каргинской впридачу. Раз Гаврила, подкрадываясь попластунски к «часовому» — соломенному чучелу, что я выставил, — так увлёкся, что подполз вплотную и с торжеством всадил в чучело нож, а после полдня ходил гоголем, куда Морозов не напомнил, что чучело-то стрелять не умеет, а живой часовой умел бы. Раз и сам Морозов, забывшись, в горячке учебной сшибки гаркнул команду во всю глотку, по-старому, как привык, — и тут же осёкся под моим взглядом, побагровел и до вечера ходил пристыженный, как мальчишка. Этих ошибок я не бранил. Я знал: за них на ученье платят стыдом, а не кровью; пусть лучше теперь, в балке, краснеют, чем после, в буераке, лягут.* * *А по-настоящему я переломил их через три дня, на учении, какое затеял нарочно, чтоб показать, а не рассказать. Я разделил отряд надвое. Морозову с Гаврилой и Аникеем дал волю: пусть, сказал, нападут на нашу засаду так, как им по сердцу, по-казачьи, в конном строю, лихо. А сам с Архипом, Власом да Мишкой залёг в балке по ту сторону поляны — без коней, в снегу, укрывшись так, как учил. Условились: попадание — это когда я хлопну в ладоши, указав на «убитого». Винтовки, понятно, без патрона, дело потешное. Да только потеха эта стоила иного боя. Морозов вывел своих с шиком. Они вылетели из-за роши лавой, пригнувшись к гривам, страшные, красивые, с гиканьем, и понеслись через поляну на нас, и снег летел из-под копыт, и Гаврила орал что-то залихватское, и в эту минуту я, грешным делом, и сам залюбовался — есть, есть в казачьей лаве та древняя жуть, от которой пехоте впору бежать. Только мы не побежали. Мы лежали. И когда лава вылетела на середину поляны, на чистое, я негромко сказал своим: «Бей». Архип «выстрелил» — указал стволом на Морозова, я хлопнул в ладоши: есть. Влас «снял» Гаврилу. Мишка, пыхтя от усердия, навёл на Аникея. Три хлопка в ладоши — и вся лихая лава, не доскакав до нас саженей семидесяти, лежала «битая», а мы — целы, невидимы, не сделав и движения. Гаврила, «убитый» первым, не сразу и понял, что с ним случилось. Он осадил коня, заозирался, заглянул за кусты, где мы лежали, — и сел в седле, разинув шерба́тый рот. — Это когда ж вы нас да я ж вас и не видал ни одного! — В том и штука, — отозвался я из снега. — Кого не видал, тот тебя и убил. Это тебе, Гаврила, не германец в полный рост. Аникей, всегда молчавший, тут не утерпел, фыркнул в кулак; даже серьёзный Влас крякнул от удовольствия. А Мишка, лежавший рядом со мной и наводивший понарошку на самого подхорунжего Моро-

зова, сиял так, будто и впрямь в одиночку положил всю казачью лаву. Морозов осадил коня, огляделся, не сразу поняв, что произошло. А понял — побагровел. — Это что ж за война такая? — рывкнул он, прыгивая. — Вы лежали, как кроты, а мы Да разве это честно? — А Северину честно станицу по спискам считать? — сказал я, поднимаясь из снега и отряхиваясь. — Война, Тимофей, не про честно. Война про живых и мёртвых. Вон, гляди: вы — мёртвые. Все трое. А мы — живые, и патронов не истратили, и нас даже не видали. Вот тебе вся наука. На пулемёт грудью — это для песни. А мне песен не надо, мне надо, чтоб вы по весне ещё дышали. Морозов стоял, тяжело дыша, и я видел, как в нём ломается что-то старое, вековое, — и как на месте сломанного проступает понимание. Он подошёл, поглядел на наше лежище — как укрыто, как пристреляно, как всё продумано, — и вдруг, неожиданно для меня, протянул руку. — Ну, командир, — сказал он, и в слове этом на сей раз не было насмешки. — Твоя взяла. Кабы под Перемышлем нас так водили, я б половину своих ребят домой привёл. — Он помолчал, желваки его ходили. — Зол я был на тебя. Думал, чужой ты, мудришь. А ты не мудришь. Ты жить нас учишь. Прости, что грозился. — Сочтёмся, — сказал я и пожал ему руку. И почувал, как с этой минуты в отряде моём стало не шесть человек, а по-настоящему шестеро — потому что Морозов, перестав упираться, стоял теперь двоих, и его тяжёлая надёжность ложилась под наше дело, как ложится фундамент под избу. Гаврила, глядя на нашу с Морозовым мировую, расплылся щербатым ртом во всю ширь. — Ну, теперь держись, краснопузые, — объявил он на всю балку. — Коли уж сам Тимофей Морозов на брюхе ползать выучился — это конец ихней власти, верное дело. И захохотал, и все захохотали — даже хмурый Аникей дёрнул углом рта, — и в этом дружном хохоте усталых, перемёрзших, обозлённых людей было что-то такое здоровое и живое, что я понял: вот теперь — отряд. Кто смеётся вместе, тот и помирать друг за друга станет. Я собрал их тут же, на вытоптанном снегу, и, пока урок был горяч, вбил его словами: запомните, что нынче видели. Не геройство вас положило — геройство красивое, да мёртвое. Положил расчёт. Положил тот, кого вы не видали. Хотите жить и хотите бить — сами станьте теми, кого не видно. Они слушали уже не как давеча, с фырканием и гонором, а как слушают ученики признанного наконец мастера — не по чину признанного, а по делу. И в том, как они слушали, я читал, что половина моей войны выиграна ещё до первого выстрела: я получил не семерых удальцов, каких на Дону по тринадцать на дюжину, а зачаток того редкого зверя, какого красные в своей станице и вообразить покуда не могли, — малого, умного, неуловимого отряда, что бьёт и тает, и снова бьёт. * * * Стрелять мы учились отдельно и скупое — патрон в нашем деле был дороже хлеба, и всякую пулю, пущенную в ученье, я после долго поминал. Но кое-что показать было надо, и я показал: как дышать, спуская крючок, как брать упреждение, как не дёргать, а тянуть, как класть не в человека вообще, а в одну точку. Аникей, молчун, оказался стрелком от Бога — с тремя пальцами на левой бил вернее иного целого; я заметил это и отметил про себя, что у меня, кажется, заводится свой снайпер, хоть слова такого тут и не знали. Влас возился со своим воображаемым «максимом», объясняя, как тот устроен, и в глазах у него была тоска человека, разлучённого с любимым делом; и я твёрдо решил, что «максим» мы ему добудем, чего бы это ни стоило, потому что пулемёт в умелых руках менял всю нашу арифметику. Отряд гелился на глазах. Это видно бывает не сразу и не по словам, а по мелочам: как перестают спорить из-за всякого пустяка, как начинают понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда, как у разных людей понемногу делается одно дыхание. Уже через несколько дней они были не горсткой обозлённых одиночек — они были тем, что я узнавал по прежней своей жизни и чему радовался теперь, как радуются неожиданному: они становились отрядом. Своим. Тем, за кого я теперь в ответе и кто, я знал это, пойдёт за мной не за страх, а потому, что поверил. Гелилось и иное, чего я поначалу не чаял. Меж людьми, что вместе мокнут в снегу и вместе валяют дурака на ученье, заводится то, чего ни купить, ни приказать нельзя, — товарищество. Гаврила с Морозовым, прежде еле терпевшие друг друга, один лёгкий, другой тяжёлый, спевались в дозоре так, что любо было глядеть. Аникей, молчавший

по неделе, отогрелся и стал нет-нет да и обронить словцо, и редкое его слово ценилось дороже всей Гаврилиной трескотни. Мишка прижился у всех под крылом — мальчонку и берегли, и поддразнивали, и он расцвёл, как расцветает сирота, нашедший наконец большую семью. Я глядел на них вечерами, у коптилки, и ловил себя на нежности, какой давно за собой не помнил, — и тут же осаживал её, потому что командиру нежность к людям, которых завтра вести под пули, роскошь опасная и для них, и для него. Любить — люби, да помни: иных из них тебе ещё хоронить. Старого, дедовского пластунского обихода Архип подкинул нам столько, что хватило бы на целую школу: как по росе гадать о завтрашней погоде; как чужого коня унять, чтоб не заржал; как в темноте по запаху дыма различить, дубовые жгут дрова или кизяк, а по тому — богатый двор или бедный, казачий или иногородний. Мелочи, мелочи — а из таких мелочей и складывается то, что отличает живого партизана от мёртвого. Я брал всё, ничем не брезгуя, и сам дивился, как ладно ложится его вековая наука на мою позднюю: будто две половины одного целого, разлучённые на сто лет, сошлись наконец в одном деле и в одних руках. В тот вечер, на мельнице, я и сам впервые за все эти чёрные дни почувствовал что-то вроде покоя — не радость, до радости было далеко, а ту тихую твёрдость, которая приходит к человеку, нашедшему наконец своё место и своё дело. И в эту самую минуту в дверях возник Архип — без шума, как всегда, будто соткался из темноты, — и по лицу его, по тому, как остро глядели блёклые глаза, я понял: принёс. — Обоз, — сказал старик негромко, опускаясь на корточки у коптилки. — Завтра под вечер из станицы на Каргинскую пойдёт обоз. Сено, овёс, да, бают, патроны — гарнизону в Каргинскую довольствие. Подвод шесть. Охраны — десятка полтора, конных. Пойдут шляхом, через Тёплый буерак. — Он поднял на меня глаза. — В буераке шлях узкий, кручи по обе стороны. Лучшего места для засады на всём Дону не сыщешь. — А не наврали тебе, дед, про обоз? — подал осторожный голос Морозов. — Может, пустые подводы погонят, для приманки. — Мне Дон зря не брешет, — отозвался Архип без обиды. — Я не у баб на завалинке слухал. Я у ихнего же возчика, иногороднего, что мне по старой памяти должен, всё выпытал, а он и не понял, что выпытываю. Шесть подвод. Патроны в третьей да четвёртой, под сеном. Конвой — взвод, при одном ручном пулемёте. Выходят, как солнце сядет, чтоб к свету поспеть в Каргинскую. Пулемёт. Я переглянулся с Власом — тот аж подался вперёд, и в глазах его зажглось то голодное, что я заметил ещё на мельнице. Ручной пулемёт в конвое — это была не просто добыча. Это было то, чего нам не доставало до полного счёта, то, ради чего одного стоило лезть в буерак, не будь там ни патронов, ни сена. — Ну, командир? — Архип поднял на меня блёклые глаза. — Дозрел твой отряд аль ещё погодим? Все смолкли и смотрели на меня. Гаврила — горящими глазами, Морозов — спокойно, по-новому, доверяя. Мишка перестал дышать. Я обвёл их взглядом, прикинул в уме всё разом — место, силы, риск, отход, — и понял, что вот он, тот срок, которого я просил у судьбы, и что дальше его тянуть нельзя, да и незачем. Я расчистил ладонью земляной пол у коптилки и угольком набросал то, что увидел нынче глазами и что Архип принёс на словах. Тёплый буерак — место, будто нарочно созданное: шлях вьётся по дну, кручи по обе стороны, поверху кусты да снег. Обоз втянется в горло буерака — и окажется в мешке. Я расписал, кому где лежать: Власу с Аникеем — поверху, на кручах, бить по конвою сверху; Архипу — в голове засады, снять головной дозор тихо, без выстрела, чтоб не вспугнуть раньше срока; Гавриле с Морозовым — завал поперёк шляха, чтоб обоз встал намертво; мне — там, где решится дело; Мишке — с конями, в укрытии, за версту, и ни шагу ближе, как ни проси. Уговорились о знаках, о том, кто начинает и по чьему сигналу, как отходить, если пойдёт не так, и куда сходить порознь, если разобьёмся. Я повторял каждому его место, покуда не убедился, что всякий затвердил и своё, и соседа. Дважды прогнали всё на словах, по угольному чертежу. Это была та самая скучная, кропотливая работа, какую они недавно ещё сочли бы бабьей робостью, — а нынче слушали жадно, потому что поняли уже: от этой скуки и зависит, кто из них через день сядет за стол, а кого помянут. — Дозрел, — сказал я. — Завтра и поглядим, чему выучились. Архип,

к свету сходишь со мной, поглядим буерак своими глазами. Остальным — спать да молиться. Послезавтра у нас будет имя, Гаврила. Кровью писаное, да другого на этой войне не дают. Расходились они в ту ночь тихие, не такие, как обычно, — без шуток, без бахвальства. Всякий по-своему готовился к тому, что завтрашний день может стать последним: кто шептал молитву в углу, кто чистил и без того чистую винтовку, кто просто сидел, глядя в огонь коптилки. Я им не мешал — перед первым делом человеку надо побыть наедине с собою. А сам сидел дольше всех и в сотый раз прокручивал в голове буерак: каждую крутизну, каждый куст, каждый шаг отхода, — выискивая, где может не сладиться, и затыкая дыры наперёд. В этом и есть работа командира: бояться за всех загодя, переболеть их страхом до них, чтоб им завтра было нестрашно. Дольше всех не спал Мишка: забившись в угол, высунув от усердия кончик языка, он в десятый раз протирал ствол отцовской винтовки — будто от того, до какого блеска он его доведёт, и зависело, вернёмся ли мы завтра все. Может, в его пятнадцать оно так и было. Я не стал ему мешать. Потом загасил коптилку. Завтра был буерак.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.